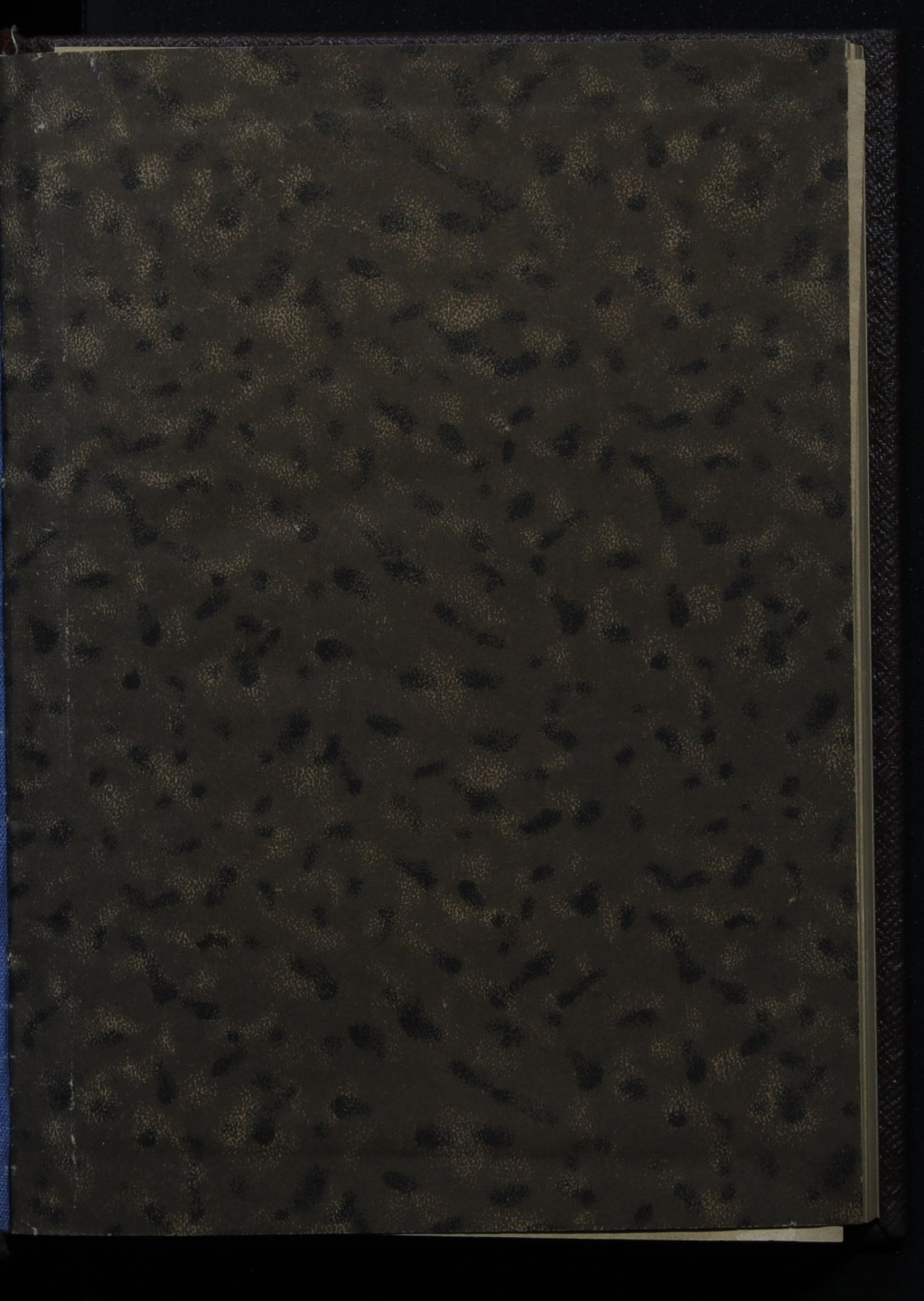
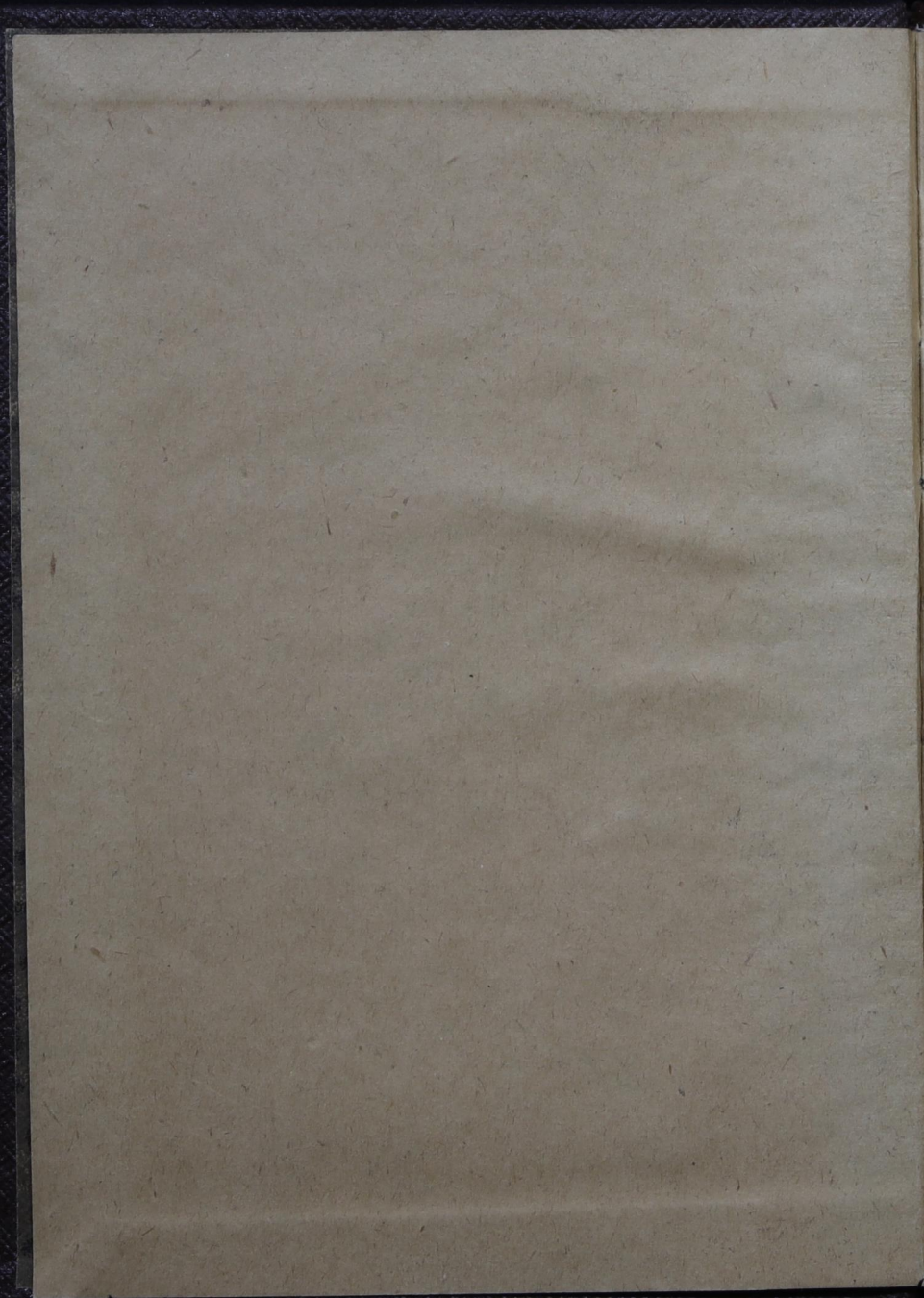


1000









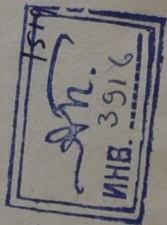
15-9-94



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БЕСЕДЫ
АНАТОЛЯ ФРАНСА

СОБРАННЫЕ
ПОЛЕМ ГЗЕЛЛЕМ



ПЕРЕВОД Е. В. МЕЧНИКОВОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. РАДЛОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА—МСМХХІІІ.

23/1-44

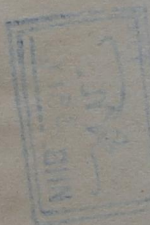
ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

БЕССЕДЫ

АНАТОЛИЙ ФЛОТОВА

Настоящее издание отпечатано
в Типографии Первой Петро-
градской Трудовой Артели Пе-
чатников (Моховая, 40) в коли-
честве 5.250 экз. — Петроград.
Гиз. № 4249. Главлит № 1027.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
В ПЕТЕРБУРГЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

БЕСЕДЫ
АНАТОЛЯ ФРАНСА

СОБРАННЫЕ ПОЛЕМ ГЗЕЛЛЕМ

PROPOS
D'ANATOLE FRANCE

RECUEILLIS PAR PAUL GSELL

RECUEIL

ANATOLE FRANCE

ROMANESQUE MODERNE

PROPOS

D'ANATOLE FRANCE

REVUE PAR PAUL GUYOT

ЧИТАТЕЛЮ

Дружеские разговоры аббата Жерома Куаньяра были сохранены для нас простодушным учеником его, Жаком Турнброшем.

Нельзя не заметить некоторого духовного родства между нашим мэтром, Анатолем Фрайсом, и аббатом Жеромом Куаньяром. Беседы обоих одинаково очаровательны. Было бы очень жаль, если б ученые и глубокие рассуждения Анатоля Франса исчезли навсегда.

Подобно Турнброшу, нам посчастливилось записать их когда-то на тех утренних приемах на вилле Саид, которые до войны были самыми блестящими праздниками ума.

На этой вилле принимались писатели, артисты, политические деятели, испанские анархисты, русские нигилисты. Хозяин дома, в своем стремлении узнать все разновидности человеческого рода, встречал их всех с искренней любезностью. Обаяние его личности избавляло его от выслеживания добычи. Желанные модели сами без стеснения приходили позировать к нему на дом.

Он оказывал им несказанную милость, пробуя на них впечатление, производимое остроумнейшими апофтегмами, которые он потом заносил на бумагу.

Мы имели счастливую возможность в течение нескольких лет следить за этой подготовительной работой великого живописца в его студии.

Говоря об Анатоле Франсе, обыкновенно заявляют: — Это обаятельный человек, но какой удручающий скептик!

Мы, усердно внимавшие ему, можем опровергнуть слишком распространенное заблуждение. Если под скептиком подразумевать философа, который сомневается в том, чего он не знает, и в том, чему не имеет никакого основания верить, который осмеивает пагубные предрассудки, вышучивает дутую славу, бичует глупое и кровавое честолюбие, конечно, Анатоль Франс — царь скептиков. Но утверждать, что он лишен веры во что-либо, было бы совершенно противным истине.

В мимолетнейших замечаниях его нам не трудно было уловить самые твердые убеждения.

Быть может, он последний мастер слова, сохранивший изящную, педантичную точность плавного, ясного стиля, благородное пристрастие к сочным словам и гармоничным фразам.

Он так благоговейно любит милую Францию, что сделал себе псевдоним из этого нежного имени, чтобы слиться со своей родиной.

Подобно самым смелым мыслителям своей страны, он исповедует религию искренности, культ терпимости и самозабвенного сострадания.

Опыт не шадил его надежд. И все же, несмотря на всю горечь печалей своего времени, он сохранил веру в медленный, несомненный прогресс доброты и справедливости.

Когда было нужно, этот беспечный мечтатель не взвешивал своих усилий и не колебался спуститься в толпу на защиту идеи.

Бог ведает, чего ему стоило снять свою малиновую бархатную шапочку, мягкий теплый халат и домашние туфли и покинуть кресло у камина. Однако, он не раз решительным шагом покидал свою башню из слоновой кости, чтобы нести слова истины своим суровым братьям из предместий.

Но с особой страстностью он исповедует культ дружбы.

Таким образом, тот, кто для многих современников символизирует неверие, является, по своему, самым верующим из верующих.

Таково свидетельство его подлинных слов на страницах, которые сейчас будут прочтены.

Читатель найдет здесь не только первые наброски афоризмов, которыми Анатолий Франс украсил свои книги, но и много рассказов, превосходных и неизданных. Конечно, это лишь мелкие крохи царского пиршества. Но превос-

ходство великих людей не всегда проявляется в их наиболее обработанных произведениях. Едва ли не чаще оно узнается в непосредственной и свободной игре их мысли.

То, под чем они и не думают подписывать свое имя, что они создают инстинктивным порывом, мысли, давно созревшие, падающие непроизвольно, сами собой—вот, нередко, лучшие проявления их гения.

Известно, что Анатоль Франс—превосходный собеседник. Его романы, в общем, лишь философские диалоги, соединенные легкой интригой. Быть может, самым привлекательным произведением его является восхитительный «Сад Эпикура», где он лениво развевает по ветру лепестки своей фантазии. «Утренники на вилле Саид» являются как бы уголком этого сада. Конечно, они дадут меньше наслаждения, потому что не сам чародей держал перо. Мы пытались, однако, бережно сохранить все обороты его речи.

Еще до войны тяжкие огорчения заставили Анатоля Франса уединиться. Этот страшный циклон изгнал его из Версаля, где он искал покоя в грустном отблеске любимого прошлого. Он перенес богов своего домашнего очага в Béchellerie, небольшое имение, приобретенное им около Тура, где он в уединенных размышлениях прожил ужасные годы.

Он стал печален под влиянием стольких катастроф.

Нескончаемая бойня была жестоким испытанием для сердца, переполненного состраданием к людям. Нет надежды, чтобы наш добрый учитель возобновил когда-нибудь дружеские приемы, во время которых блистало его насмешливое остроумие. Поэтому, не откладывая более, мы постараемся закрепить переливающиеся всеми цветами воспоминания.

ХИЖИНА МУДРЕЦА

В серебре утра стремительные амазонки и изящные всадники гарцуют по авеню Булонского леса от Арки Победы до ворот Дофина.

С одной стороны этой гордой аллеи открывается тихий тупик, обсаженный сикоморами, старательно подстриженными на французский лад. Это—Вилла Саид.

Окружающие ее дома скромной высоты и, хотя находятся в черте Парижа, кажутся уже дачами.

Кокетливые и нарядные, выглядывают они из-за своих обвитых плющем решеток. Это жилища спокойных людей: рантье, артистов, писателей, философов.

Вилла Анатоля Франса помечена пятым номером.

Во время войны в ней долго царил молчание: хозяин покинул ее.

Она казалась печальной вдовой. Дверь и окна первого этажа словно ослепли, уродливо заде-

ланные кирпичем и штукатуркой. Это было олицетворение скорби.

Но затем, угрюмый фасад раскрыл, словно веки, свои стекла и озарился новой улыбкой. Анатоль Франс временами возвращается в свой домик, когда не живет на берегу Луары в Saint-Cyr-les-Tours, или у друзей в тенистом Сен-Клу.

Но нам хочется описать эту Виллу Саид, эту Хижину Мудреца такою, какою она была в счастливое время, когда ее наводняла толпа посетителей.

Выкрашенная в зеленый цвет дверь представляла целый музей. Ручка звонка была из бронзы. Это изящная флорентинская головка, дружески приветствовавшая ласкавшую ее руку. Ящик для писем был запечатан античными медалями.

Однажды мы были приняты самим хозяином дома.

Нас встретила добрая старушка Жозефина. Это была достойная управительница господина Бержерэ. Лицо ее всегда выражало некоторое недоверие. Она едва приотворяла дверь, глядела под нос новому посетителю, благоразумно оставляя его вне дома во время этого тщательного осмотра, и впускала лишь по зрелом обсуждении.

Ежедневно на подаваемых ей отрезках бристоля читала она по складам имена герцогов, маркизов, генералов, академиков, банкиров, министров. Жозефина была пресыщена людским величием. Она измерила всю тщету его.

— Мэтр дома? — спрашивали у нее.

— Мэтр, мэтр, — ворчливо повторяла она. — Почему зовете вы его хозяином? ¹⁾ Он хозяин только своего супа, когда ест его, и то лишь когда суп у него во рту.

Эти едкие замечания она цедила сквозь запломбированные золотом зубы.

Такие глубокомысленные суждения в устах служанки философа казались уместными.

Прихожая была переполнена сокровищами: персидский фаянс с красными, синими и зелеными гвоздиками, родосская глиняная посуда с золотистым отливом, архаические статуэтки красовались на столиках и консолях. Толстый монах перебирал свои четки перед немецкой Мадонной с выпуклым лбом и длинными мелко завитыми волосами.

Жеманная итальянская Лукреция вечно пронзала себе грудь.

Лестница переливалась радугой от старинных церковных стекол, усеянных золотыми блестками.

Уже при входе в дом угадывался вкус одного из самых сведущих и утонченных коллекционеров.

Эта, так роскошно убранная, прихожая приводит нас на память один рассказанный нам анекдот.

¹⁾ Во французском тексте здесь не поддающийся переводу каламбур на слове *maître*, которое посетители употребляют в смысле «Учитель, как образец совершенства», а служанка — в смысле «хозяин».

Увидеть Анатоля Франса—было первым и неотложным желанием одной, приехавшей в Париж, русской студентки. По книгам и по слышке она обожала этого друга страждущих и униженных.

Заручившись горячей рекомендацией, мчится она на виллу Саид.

Она вручает свое письмо Жозефине, которая идет наверх предупредить своего хозяина. Тот согласен принять посетительницу.

— Идите наверх,—бесцеремонно кричит через перила служанка.

Но ей не отвечают.

Несколько раздраженная, Жозефина опять идет вниз. Прихожая пуста. Она ищет в столовой, в гостиной. Никого.

— «Ну, Жозефина?» — спрашивает ожидающий учитель.

— Ну, я не знаю, куда девалась эта бабышня.

— «Что такое?»

— Она сквозь землю провалилась.

— «Что вы мне говорите?»

— Я ничего не понимаю. Я всюду искала и не нахожу ее. Она ушла.

— «Что за сумасшедшая!»

Загадка разъяснилась позднее. Едва переступив через порог, русская гостья была изумлена утонченностью роскоши, которая превосходила самое пышное великолепие царей Востока.

Совсем не таким представляла она себе уединенное жилище апостола. Это простодушное и наивное дитя Скифии не в состоянии было допустить, чтобы страсть к прекрасному могла совмещаться с сердечной чуткостью. Какая-то грусть охватила ее. Внезапно она повернулась, вышла, тихонько затворила дверь и убежала еще скорее, чем пришла. Ее больше никогда не видали.

Мы не имели желания подражать русской студентке, и как только Жозефина позвала нас мы поторопились подняться в кабинет философа.

Анатоль Франс собирался доверить свою голову цырюльнику и с лестной для нас любезностью извинился, что займется туалетом в нашем присутствии.

Фигаро, подходивший с раскрытою бритвой и кисточкой, брызнул пеной на стол и потревожил несколько исписанных листков.

Франц посмотрел на него комически сердитым взглядом.

— «Вы всегда врываетесь ко мне, словно колесница, вооруженная косами. Вы — ужасный человек».

Несомненно привыкший к этим лирическим нападкам, ужасный человек не промолвил ни слова и приступил к своей операции. Задача была не легкая, потому что господин Бержерэ беспрестанно двигался и разговаривал, пока придавали свежий вид его подбородку.

Гримм в одной из своих сказок говорит о цырюльнике, таком искусном, что брил зайца на бегу. Это была детская игра в сравнении с чудом, свидетелем которого являлись мы.

Спальня была прелестна.

Над постелью эпохи Возрождения коричневые витые колонны поддерживали итальянский балдахин, зеленый шелк которого оживлялся разводами нежных оттенков.

Среди предметов, которые ему особенно нравились, Франс указал на стоящее на камине античное изваяние. Это была женская голова, несколько откинутая назад, с полу-закрытыми, подернутыми любовной истомой глазами.

— «Я отыскал ее около Неаполя, — сказал он, — на берегу моря, в рыбацкой хижине, почти целиком выстроенной из обломков образцовых произведений искусства.

Мне предстоял довольно длинный путь до отеля. Я прибавил поэтому лиру к условленной цене, чтобы мне донесли этот тяжелый мрамор. И сначала я не обратил внимания на того, кто взялся за это дело. Но вдруг я заметил, что это была бедная женщина, в последней стадии беременности.

Я поспешил взять у нее эту тяжесть, чтобы вручить ее молодому парню, которого вперед награждал другою серебряною монеткой.

И вот, посмотрите, как не признаются хорошие побуждения. Эта честная рыбацка так рас-

сердилась, что ей заплатили за услугу, от которой я освободил ее, что приняла мое сострадание за оскорбление. Она не вернула мне лиры, которую я, конечно, и не взял бы обратно, но всю дорогу она шла за мной следом, осыпая меня грубою бранью.

Я узнал таким образом, что честность глубоко коренится в сердце человека... и даже в сердце женщины.

Это не единственное воспоминание, которое пробуждает во мне эта страстная голова.

Я уезжал из Неаполя морем.

Итальянцы, вы знаете, следят, чтобы иностранцы не увозили в своем багаже произведений искусства. Очень мудрое постановление, эдикт Пакка, запрещает расхищение художественных сокровищ, которыми гордится полуостров.

Я дорожил этой головой и твердо решил не заявлять о ней. Я тщательно упаковал ее в ящик некрашенного дерева. И чиновнику, который спросил у меня, что находилось в этой упаковке, я ответил с невинным видом: «Niente! Niente!»

Он принял этот уклончивый ответ и хотел поставить ящик к уже осмотренным вещам.

Но, увы, дно не выдержало, и когда ящик был приподнят, эта внезапно появившаяся голова со своими закатившимися от любви глазами, казалось, насмехалась надо всеми.

Я был покрыт стыдом.

Таможенный, как знаток, осматривал мрамор, становился в три-четверти, чтобы лучше любоваться им, и, обратившись ко мне с невыразимой улыбкой, зубоскалил:

— Niente! Niente!

Этот палач подвергал меня пытке. Но, внезапно, с необыкновенной снисходительностью он сказал:

— Увозите это, у нас в Италии слишком много прекрасных вещей.

Можно было подумать, что этот таможенный чиновник собственными руками изваял всех античных Венер и был способен повторять их дюжинами».

Окончив бритье, Франс встал и надел на голову свою ярко-красную шапочку, совершенно подобную шапочкам флорентийцев Кватроченто на фресках, которыми Гирляндайо расцветил Санта-Мариа Новелла.

Мы перешли в его рабочий кабинет.

На столе восхитительный Танагрский крылатый гений приподымался на кончиках пальцев, чтобы улететь.

— «Я считаю его подлинным, — сказал хозяин. — И, что еще важнее, он прелестен».

Он взял благоговейно маленького Амура и, поднеся его к своим глазам, почти к своим губам, погладил его с нежностью.

Это был молчаливый диалог современной-шего мыслителя с простодушным мастером,

который в дали веков, сам того не ведая, оживил эту глину дыханием меланхолического изящества своего времени.

Господин Бержерэ очень эклектичен, и сделанные им приобретения доказывают разнообразие его вкуса.

Собственно говоря, его предпочтения менялись из года в год, и его жилище принимало различный вид в зависимости от книг, над которыми он работал.

Каждый период его жизни с новой роскошью обогащал его. С «Таис» соединяются эллинские воспоминания, головы, торсы, статуэтки и стелы золотистого мрамора; с «Красной Лилией» — итальянский фаянс; с «Жанной д'Арк» — ткани XV века; с романом «Боги жаждут» — мебель и эстампы времен Людовика XVI и Революции. Стилль конца XVIII века стал под конец преобладающим, потому что он гармонирует с последним пристрастием его бесконечно капризного вкуса.

Убранство этого жилища кажется отражением души. Оно служит для нее оправой, как изящный футляр для драгоценной вещи.

— «Я не богат, — сказал Франс, — и, однако, моя коллекция довольно прилична. У любителей, как у любовников, страсть заменяет богатство.

Прекрасные женщины бывают иногда более растроганы горячими и неотступными мольбами бедных вздыхателей, нежели умопомрачительной щедростью осыпанных золотом богачей.

Из ящичков букинистов, из полураскрытых папок в глубине темных лавок, уники, ускользающие от миллиардеров, иногда любовно подмигивают разведчикам, которые обладают тощим кошельком, но которые их выискивают, выслеживают, вымаливают с неистовым вожделением, но все же, чтобы завладеть женщинами и шедеврами, лучше быть одновременно и богатым и страстным».

Господин Бержерэ показал нам свои старые книги.

— «Я нежно люблю их, — сказал он, — потому что они доставляют беседующему с ними забвение настоящего и немножко тихого помешательства. Это легкое умственное повреждение поражает даже тех, кто прикасается к ним, не читая их. К слову сказать, я не знаю более милого человека, нежели превосходный Симс, книжный торговец на улице Сены, который продал мне большую часть этих фолиантов. У него две одинаково похвальные страсти: хорошие старинные авторы и старые французские вина.

Когда он сообщает мне, что только что сделал необыкновенную находку, я никогда не знаю, говорит ли он о запыленной бутылке, или о редкой первопечатной книге.

Он часто ходит странно наряженным, но это является следствием продуманных предпосылок.

Он утверждает, что порядок, в котором мы надеваем наше платье — чистая условность.

Что касается до него, вставая утром, он наудачу берет части своего туалета со своей скамеечки. Ему случается надеть сначала свой пиджак, потом рубашку, затем жилет и, наконец, натянуть сверх всего свою фуфайку.

— Не все ли равно, — говорит он, — раз по счету верно. И разве мне не так же тепло?

Хотя эта теория имеет только видимость истины, я не пытаюсь ее опровергать, так как мне стоило бы слишком много труда разубедить его.

Как-то я нашел его кашляющим, чихающим, сморкающимся, сопящим, фыркающим, с ручьями, текущими из носа и глаз.

— Э, мой дорогой Симс, где вы только подцепили такую зверскую простуду?

— Не представляю себе. Я не совершил никакой, даже самой легкой, неосторожности.

Затем он рассказал мне, что купил накануне кучу старых книг.

Но лавка его была полна, и ему пришлось отнести их наверх, в свою комнату, которая была уже завалена. Он был даже вынужден сложить много книг пачками в ногах своей постели.

Он испытал неудобство такого приема, когда ложился спать. К счастью, изголовье его постели касалось окна, а окно выходило на крышу.

Он не придумал ничего лучшего, как открыть окно и вытянуть немного свой матрац на кровельный жолоб. После чего, туловищем в комнате, а головою наружу, добряк Симс заснул детским сном.

Увы! надо же было ужасной грозе разразиться среди ночи и всем хлябам небесным разверзнуться над его головою.

— Ну,—сказал я ему,—так-то вы и простудились.

— Вы думаете? — спросил он.

Я люблю Симса за то, что он с крайней осмотрительностью принимает самые убедительные доводы».

Франс благоговейно взял с полки прекраснейшую книгу, крытую пергаментом, золотистым, как старая слоновая кость, и с целым сонмом вытисненных на нем легендарных животных.

— «Этот Вазари—моя гордость»,—сказал он.

Он стал перелистывать ее, и ему попался портрет Паоло Учелло.

— «Это тот художник,—сказал он,—которого жена нежно упрекала за то, что он работал с излишней медлительностью».

— Мне надо время,—замечал артист,—чтобы установить перспективу моих картин.

— Да, но, Паоло,—возражала бедная женщина,—перспектива, которую ты намечаешь нам, это перспектива нищеты и могилы.

Она была права, и он не был неправ.

Вечный конфликт между добросовестностью художника и суровой действительностью».

Так господин Бержерэ, далекий от злобы дня, от насущных горестей, от угроз, встававших на горизонте, погружался в успокоительную феерию минувших веков.

Через статуи, картины, книги он входил в общение с умершими. Посредством начертанных знаков и расцвеченных или изваянных форм, он старался проникать в души былых времен.

Жаждающий знания, он присоединял к часам, которые переживал, бесчисленные истекшие дни. По своему обыкновению, он совершал в домашних туфлях и в халате бесконечное плавание во времени и привозил нам оттуда глубокомысленные поучения.

Жозефина пришла доложить о двух делегатах социалистического комитета.

Один был толстый, краснолицый человек, буржуазно принаряженный, но без галстука и в мягкой рубашке, так как его могучая шея не выносила других. Это был кузнец. Он извинился, что не подает своей правой руки, забинтованной, потому что она была ранена во время работы на заводе. Его товарищ, худой, тщедушный, с горящими глазами, со взъерошенными волосами, был учитель. Один своим грубым телосложением, другой своей лихорадочной

изможденностью олицетворяли народ, обреченный на тяжелый физический и умственный труд.

Они поздравили Франса с его выступлением на недавнем митинге.

Его речь вызвала взрывы аплодисментов. Но она постоянно прерывалась криком: «Да здравствует анархия!» Этот компрометирующий лозунг выкрикивался в такт группой полицейских шпионов, легко распознаваемых по их густым усам, грубым физиономиям и по их башмакам с гвоздями.

Оба делегата осуждали действия провокаторов.

Они просили писателя председательствовать на новом собрании.

Он посмотрел на свои туфли, погладил рукою своего Вазари, бросил украдкой благосклонный взгляд на маленького танагрского Эроса.

Потом его черные зрачки остановились на мгновение на забинтованной руке кузнеца и на впалых щеках школьного учителя.

— «Я приду», — сказал он.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ

При наступлении новых академических выборов кандидаты отдают господину Бержерэ свой обычный визит. Они знают, что уже очень давно он не ходит на угол набережной и не принимает участия ни в каком голосовании. Тем не менее, из уважения к его славе, они ходатайствуют о его голосе. Это — трогательный обычай, от которого никто не уклоняется, даже господа члены из среды духовенства.

Однако, у них могли бы быть уважительные причины, чтобы не компрометировать себя общением с этим папой неверующих.

Но, быть может, разговор с ним представляет для них привлекательность запретного плода? Быть может, они надеются какими-нибудь красноречивыми словами забросить в его душу семена блистательного обращения?

Так суровый Пафнутий предпринял некогда привлечь к богу легкомысленную Таис.

Когда кардинал де-Кабриэр, бывший еще

только его преосвященством, но вскоре затем ставший высокопреосвященством, пожелал кресла под куполом, он, как и другие, пришел в скит Виллы Саид.

Старуха Жозефина с золотыми зубами ввела его с большим почетом.

— Милостивый государь, — развязно сказал епископ, — откровенно признаюсь вам, что не читал ваших романов.

— «Ваше преосвященство, — с монашеским умилением ответил Франс, — чистосердечно исповедуюсь перед вами, что совершенно не читал ваших пастырских посланий».

Начатый таким образом разговор стал душевным.

Прелат отечески указал Франсу на то, что великие писатели воспевали хвалу всевышнему. Он назвал Шатобриана.

Франс ответил, что виконт, действительно, сладкозвучно прославлял декорацию католичества, но что, главным образом, он сметал пыль с мебели и наводил блеск на драгоценные предметы культа, словно церковная прислужница или педель, в то время как к вероучению он относился несколько небрежно.

— «Он любил, — сказал он, — величественность соборов и пышность ритуальных торжеств. Но я также люблю их, ваше преосвященство».

И набожным жестом он указал на златозарные эпитрахили, на блестящие ризы, на светлые

серебряные сосуды для ладона, сверкавшие в его витринах.

— «Шатобриан почитал духовных писателей. Но я также питаюсь ими, ваше преосвященство».

И на полках своей библиотеки, на почетном месте, он указал Орла Мо и Лебеда Камбрэ, примиренных друг с другом.

Он оставался неуязвимым.

Кардинал де-Кабриэр удалился, убежденный, что по некоторым вопросам самые искренние верующие ничего не потеряли бы, поучившись у Анатоля Франса.

В следующую среду, потому что по средам господин Бержерэ принимал своих близких друзей, заговорили об епископе Дюшене, который выставял свою кандидатуру в академию против кардинала де-Кабриэра. Соперничество двух прелатов забавляло галерею. Предлагались пари. За епископа Дюшена ставили два против одного. Взвешивали симпатии академической левой за одного и симпатии правой за другого.

Рассказывали о ядовитой шутке автора «Происхождения Христианской Франции» над кардиналом де-Кабриэром, который является превосходным оратором, но который почти ничего не написал.

Епископ Дюшен входил в различные книжные магазины по соседству с дворцом Мазарини и говорил самым невинным голосом:

— Дайте мне полное собрание сочинений епископа де-Кабриэра.

Приказчики в изумлении.

— Полное собрание сочинений епископа де-Кабриэра? У нас этого нет.

— Есть, есть. Поищите немного.

Искали, затем:

— Ваше преосвященство, мы ничего не находим.

— Но, однако, епископ де-Кабриэр кандидат в академию. Несомненно, написал же он что-нибудь. И я горячо желаю прочесть его сочинения. Поищите их еще, пожалуйста.

Большой переполох. Владельцы магазина, приказчики рыщут во все стороны, перетаскивают кипы томов, взбираются на лестницы. Ничего, все ничего.

— Ваше преосвященство, мы очень сожалеем.

— Я также. Я также.

И уходя, он взывал к небу, воздымая руки:

— Но где же, где найду я полное собрание сочинений епископа де-Кабриэра?

Эта забавная выходка, о которой разблаговестили книготорговцы, сильно радовала господ академиков.

Господин Бержерэ, которому в то утро кто-то рассказал о ней, слушая, смаковал свежую острогу.

— «Епископ Дюшен, — сказал он, — всегда

выказывал много ума. Когда он не получил еще аметистового перстня, он жил в четвертом этаже на набережной Вольтера. Один из его коллег по археологии, отдавая ему визит, восторженно возвестил, что, разбирая собрания старинных церковных грамот, он открыл нового святого.

— Ба, — живо возразил аббат, — ваш святой легендарен, как и многие другие! Он никогда не существовал, дорогой коллега.

И он научно изложил доказательства своего мнения.

Они были такого свойства, что вывели гостя из себя.

— Господин аббат, — сказал он, разъяренный, — ваша неучтивость выдает ваше бретонское происхождение. Вы заставляете меня вспоминать о ваших предках, диких армориканских морских разбойниках. Довольно! Прекратим разговор! Я попрошу вас только указать мне ближайшую пристань пароходов на Сене.

— Милостивый государь, — гордо возразил аббат, — я оскорбил бы достоинство моих предков, занимаясь речными перевозами.

Согласитесь, что в этом ответе оскорбленного археолога было остроумие».

Один из нас припомнил остроты, которые приписывают епископу Дюшену, например, следующую, о наивной политике папы Пия X:

— Это венецианский гондольер в лодке святого Петра. Он толкает ее багром.

И еще другую:

— Читали ли вы последнюю буллу: *Digitus in oculo?*

— «Не вполне достоверно, — возразил Франс: — чтобы эти колкие словечки принадлежали ему. Но ведь ссужают только богатым.

Несомненно, епископ Дюшен слишком умен для священнослужителя, и подобные остроты, быть может, вредят ему. Но это его заботит меньше всего.

Однажды, когда он прогуливался по Риму со знаменитым археологом Росси, они остановились перед только что вделанной в стену прекрасной мраморной доской, на которой было вырезано по-латыни: «Здесь встретились святые апостолы Петр и Павел».

Историческое неправдоподобие события заставило их покачать головою.

Над этой фразой значилось по-итальянски:

«Запрещается складывать мусор у этой стены».

— Очень мудрое предписание, — сказал Росси.

— ... Но очень плохо выполняемое, — прибавил аббат, — указывая концом своей трости на агиографическую надпись. И собеседники пошли далее».

Анатоль Франс продолжал:

— «Физическое сходство епископа Дюшена с Вольтером — поразительно. Отсюда я заключаю... что Вольтер был святым человеком».

— Но, в конце концов, — спросил кто-то, —

каким образом согласует епископ Дюшен веру с ученостью?

Франс.— «Он не согласует их. Почему вам хочется, чтобы он их согласовывал? Он в одно и то же время очень ученый и очень верующий. Его археология и его католичество соседствуют в его душе, не ведая друг друга. Непроницаемая перегородка разделяет их. И не думайте, чтобы подобные случаи были редки. Череп каждого из нас прикрывает множество разноречивых идей, к которым мы одинаково привязаны, и которые отлично уживаются, потому что мы никогда не вызываем их на очную ставку».

В эту минуту мы увидели входящего Эдмона Арокура, смелого поэта—автора «Легенды Полов», хранителя музея Ключи.

Он начал с комплиментов:

— Мэтр,—сказал он:—я в восторге, видя вас таким юным.

Франс.— «Ну, ну! Однако, я старею!»

— О, мэтр,—любезно вскричал маленький молодой человек, который еще не раскрывал рта,—если вы стареете, это совсем не заметно по вашим последним книгам.

Франс (лукаво).— «Ей богу! По моим книгам... Только этого еще не доставало... По другим признакам, увы! чувствую я враждебную

старость. Вы их узнаете позднее, гораздо позднее, юноша, утра которого победоносны».

(И обращаясь к Арокуру).

— «Ну, мой дорогой хранитель, как ваш музей?»

Арокур.—Я ошениваю его, очищаю его от вредителей...

Франс.—«Как?»

Арокур.—Он кишит подделками.

Франс.—«Конечно. Я подозревал это».

Арокур.—Путем строгой проверки, я отделяю доброе семя от плевелов. Все, что кажется подозрительным, я извлекаю из коллекций, и помещаю в своей квартире хранителя.

Франс.—«Превосходная мысль».

Арокур.—Обстановка, которую я таким образом составил для моего личного употребления—обильна и отвратительна. Квартира моя сделалась святилищем подделки, Пантеоном дурного вкуса. Но придется умерить строгость моей критики, так как моя гостиная, моя столовая, моя спальня и даже кабинет уединения переполнены шкапами Буль, часами Людовика XIII, буфетами Генриха II, и все они—самого подлинного XIX века ¹⁾.

Мы помирали со смеху.

Господин Арокур продолжал:

¹⁾ Впоследствии, эта странная мебель была снова водворена в Музее, так как господин Арокур не живет там более.

— Не так давно испытал я самое сильное
тягостное изумление. Вам хорошо известен на-
знаменитый ларец XIV века, столь превознос-
мый во всех руководствах по искусству. —

Франс. — «Конечно».

Арокур. — Он поддельный.

Франс. — «Полноте!»

Арокур. — Вот как я заметил это. Я хоте-
прославить этот ларец в стихотворении, потому
что он вдохновлял меня. На деревянных пан-
вырезаны сцены, в которых я думаю усмотреть
«Радости Брака». Супруги ссорятся и бранятся.
Кумушки украшают своих мужей пышными ро-
гами. Я настроил мою лютню и заиграл прелю-
дию, когда заметил на двух сторонах героиче-
ские сцены, которые не имели ничего общего
другими. Это были рыцари, отправлявшиеся на
войну с копьями в руках. Я хорошо знаю, что
военные могут галантно вступать в дома шта-
финок. Но, поистине, эти паладины были слиш-
ком многочисленны. Они возбудили во мне тре-
вогу. Я открыл, что мой сундук — хитрое соеди-
нение отдельных частей и кусков. Лишь треть
крышки восходит к XIV веку.

Вы можете себе представить, что я положил
свою лютню. Но, ради бога, господа, будьте
скромны. Потому что этот ларец — наша гор-
дость. Он так славен, что я не мог решиться
отнять его у публики.

Франс хохотал до слез.

— Никто бы не догадался, — снова заговорил Арокур, — что я прихожу к вам с моим визитом кандидата в Академию.

Франс. — «Разве вы не знаете, что никогда нога моя не бывает во Дворце Мазарини?» ¹⁾

Арокур. — Скажите, дорогой мэтр, не могли ли бы вы...

Франс. — «Послушайте, мой дорогой друг, даже швейцары не узнали бы меня. В самом деле, вот отличное средство... Позвольте познакомиться вас с моим русским другом С.»

С. (великан, украшенный окладистой черной бородою, кланяется господину Арокуру). — Милостивый государь...

Арокур (также). — Милостивый государь...

Франс. — «Мой друг пошел бы вместо меня в Академию и сказал бы, что он Анатоль Франс. Нет, серьезно, мне было бы неприлично отправиться туда только для голосования».

Арокур. — Словом, благодарю вас за ваш платонический голос.

Франс. — «Бедный друг... У вас есть, конечно, голоса более существенные. Посмотрим-ка, кого вы имеете. Припомним имена Академиков. Несчастье в том, что они совсем неизвестны».

Арокур. — Я всех их знаю.

Франс. — «Быть не может».

¹⁾ Во время войны Анатоль Франс, чтобы оказать почтение священному единению, появился в Академии, но он не замедлил снова забыть к ней дорогу.

Арокур.—Честное слово. Каждые каникулы в Париже насчитывают полдюжины несчастных, которые выучивают полный список Бессмертных, и которые ходят из дома в дом стучаться у дверей.

Франс.—«Чтобы утешить вас, надо ли мне вам напомнить о прелестных страницах в «Дневнике Поэта» Виньи, где он записал свой визит к Руайе-Колляру?»

Арокур.—Я знаю их наизусть. Какая восхитительная буффонада Старик Руайе-Колляр, закутанный в дедовский халат с черным париком на голове, приоткрывает дверь перед Виньи, чтобы сказать ему: «Я не могу впустить вас, сударь, я только что принял лекарство». И он добавляет: «Между нами, у вас нет никаких шансов... Впрочем, я не знаю ваших сочинений, потому что ничего более не читаю уже тридцать лет... В мои годы, сударь, уже не читают, а только перечитывают».

Франс.—«Ну, вы видите, мой дорогой друг, какому унижению кандидатура благородного Виньи подвергла его гордость. Пусть его пример поможет вам терпеливо переносить ваши собственные злополучия».

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ

(Продолжение)

— Несомненно, — продолжал Арокюр, — что со времен Виньи ничто не изменилось. Он жаловался, что Руайе-Колляр не читал его произведений, и я замечаю в течение своих визитов, что очень немногие из Бессмертных знают мой писательский багаж. Это прискорбно.

Франс. — «Чего вы хотите? Никогда, положительно никогда, Академики не раскрывали книг кандидатов.

Послушайте, Леконт де-Лиль, богохульник, написавший «Варварские Поэмы», был избран, как христианский поэт. Уверяю вас. Я говорю об этом, как хорошо осведомленный человек. Я шаг за шагом следил за его избранием. Я был секретарем библиотеки Сената, где он был хранителем.

Он был избран благодаря герцогу де-Брой.

Герцог де-Брой знал, что Леконт де-Лиль был поэтом. Как он узнал об этом? Я до сих пор еще задаю себе этот вопрос.

— Мне говорили об одном поэте,—сообщил он своим коллегам.

Тут Франс заговорил тоненьким, едким, дребезжащим голоском в подражание герцогу де-Брой.

— «Этот поэт, конечно, спиритуалист, потому что все поэты—спиритуалисты. Спиритуализм, христианство,—это одно и то же. И так, мой Леконт де-Лиль—христианин, хороший христианин, превосходный христианин. Я за него голосую. Поступайте по моему».

— «Надо вам сказать, что герцог де-Брой был христианином до преступления. Он был пламенного темперамента. Однажды его доктор посоветовал ему взять любовницу, чтоб поберечь жену, очень ненадежного здоровья».

Герцог подумал и вдруг ответил:

— Ну, дорогой доктор, клянусь честью, я предпочитаю потерять свою жену, нежели свою душу.

Выборы Леконт де-Лилия были к тому же облегчены счастливым недоразумением. Большинство Бессмертных, которые голосовали в его пользу, приписывали ему, как мне говорили, «Разбитую вазу» Сюлли-Прюдомы».

Лицо Арокура выразило изумление.

Франс.— «Но чаще всего, мой дорогой друг,—вы знаете это так же хорошо, как и я,—выборы бывают чисто политическими».

Арокур.— Однако, дорогой мэтр, ваши—политическими не были.

Франс. — «Напротив, более, чем какие-либо другие, по об этом стоит рассказать подробно.

Людовик Алеви, который питал ко мне братскую дружбу, повторял мне беспрестанно: «Зачем дуться на Академию? Надо быть ее членом. Это имеет хороший вид на обложке книг. Выставляйте свою кандидатуру. Сделайте это ради меня. Мне совестно быть бессмертным, когда вы не бессмертны».

Он повторял это так часто и так хорошо, что я написал свое заявление. Я пришел к нему прочесть его.

Фи, — сказал он мне, — ваше письмо написано не по форме. Дайте-ка его мне отделать, как следует.

И, нарочно, всадил в него три или четыре хороших, грубых ошибок против французского языка, которые сверкали, как маки во ржи.

Вот, — сказал он, — слог, который годится. Но это не все. Надлежит узнать, кого вы будете иметь за себя.

Он составил список и приступил к бесчисленным отметкам.

Гм-гм, — говорил он. — Это будет тяжело. Эти проклятые герцоги без гримасы вас не проглотят.

Я принялся за свои визиты. Алеви руководил действиями. Каждое утро я получал записку: «Пойдите к тому-то. Заверните еще к тому-то».

Наконец, однажды я увидел его сияющим.

— Идет,—воскликнул он, потирая руки,—мы их держим.

— Кого их?

— Герцогов. Выслушайте меня. Имеются два вакантных кресла. Крайняя левая Академии представляет вашу кандидатуру на одно из них. Герцоги толкают к другому достойного дворянина, древнего рода, но совершенного невежду в литературе. Без труда они нам его не навяжут.

Мы им сказали:

— Хотите, чтобы крайняя левая голосовала за вашего дворянина? Голосуйте за анархиста Анатоля Франса. Услуга за услугу.

— Ну, по рукам. Они согласились. Я ликую. Делайте ваши визиты герцогам: они предупреждены. Но, главное, не говорите ни о политике, ни о религии. Ба! Говорите: — Солнце светит. Или еще: — Ветер дует. Дождь идет. Изморозь. — Осведомьтесь у хозяйки дома о здоровье ее пуделя и ее шалунов. Подобные же наставления сделаны и дворянину.

Все пошло, как он предвидел. Анархист и знатный барин были избраны в один и тот же день и теми же голосами. Это было совершенно непристойно».

А рокур. — Все равно. Академия оказала себе великую честь, избрав вас.

Франс (беря его за руку) — «Спасибо,

дорогой друг. Я продолжаю, так как есть продолжение.

Между голосами, которые были мне обещаны, одного не хватало: голоса Анри де-Борние. Так как эта маленькая измена была разглашена, он захотел извиниться передо мною.

— Дорогой господин Франс,—(начал он),— я не голосовал за вас.

— Извините, господин де-Борние, вы голосовали за меня.

— Но нет,—сказал он в смущении.

— Уверяю вас, да; разве вы не дворянин, господин де-Борние?

— Конечно, но...

— Разве вы не поэт чести?

— Несомненно, но...

— Итак, невозможно, чтобы вы поступили противно своему обещанию. Вы голосовали за меня, господин де-Борние, вы голосовали за меня.

Он удалился пристыженный. Но я не был еще достаточно отомщен и только выжидал случая, чтобы утолить свое чувство обиды.

Я нашел этот случай на одном заседании по составлению словаря...

Мой дорогой Ароккур, вы, конечно, будете принимать участие в заседаниях по составлению словаря. Потому что вы будете Академиком. Всегда получают то, чего сильно желают».

Ароккур.—Так ли!

Франс. — «Не сомневайтесь в этом нисколько. И я желаю вам хорошенько веселиться на этих славных заседаниях.

Мы все время сидели на букве А; потому что рабочий день короток под Куполом. Составляли статью — аппеау — кольцо.

Председательствовал герцог де-Брой.

Большинством голосов приняли следующее определение:

Кольцо — кусок металла круглой формы.

— Кольцо дыма — подсказал я коварно.

Эти слова произвели некоторое замешательство. Но один словесник сказал с уверенностью:

— Ну, мы поставим: — как катакресис: кольцо дыма.

«Катакресис» показалось внушительным.

В виде примера назвали — кольцо Сатурна.

— Астрономы открыли несколько колец, — заметил я. — Нужно, поэтому писать: «Кольца Сатурна».

— Нет, — ответили мне, — обычно говорят — кольцо Сатурна; — мы для того лишь и созданы, чтобы утверждать обычай. Тем хуже для ваших астрономов.

Я был вынужден замолчать.

Тогда-то пришла мне в голову адская мысль.

Моим соседом по креслу был как раз

добряк Борние. Он храпел, как органная труба. Я толкнул его локтем:

— Они забывают о кольце Ганса Карвеля.

— Как, что? — спросил он, протирая глаза».

Здесь Франс раскрыл скобки.

— «Вы все знаете, мои дорогие друзья, эту очень двусмысленную историю. Вы читали ее в третьей книге Пантагрюэля. Простак Ганс Карвель, женившись под старость на резвой молодке, терзался ревностью. Как-то ночью, когда он спал около своей жены, дьявол поднес ему во сне прекрасное кольцо: «Надень это кольцо на твой палец; пока оно будет на нем, твоя супруга будет верна тебе».

В своей радости простак просыпается и слышит, как жена говорит ему: «Довольно. Довольно. Прошу вас».

Анри де-Борние, привыкший вынимать из ножен Дюрандаль ¹⁾, подносить к устам олифант ²⁾, садиться верхом на Пегаса и носиться в облаках, никогда не читал Раблэ.

Я повторил ему:

— Они забывают о кольце Ганса Карвеля. Надо их предупредить.

И тотчас же этот достойный старичок закричал, ничего не подозревая:

¹⁾ Дюрандаль — меч Роланда.

²⁾ Олифант — рог Роланда. Анатолий Франс иронизирует над Анри де-Борние, как над автором пьесы в стихах «Дочь Роланда». (Прим. переводчицы). (Виконту Анри де-Борние принадлежат еще пьесы: «Свадьба Атиллы», «Магомет» и др.).

— Господа, вы забываете о кольце Ганса Карвеля.

Раздалось несколько смешков.

Герцог де-Брои, который сам очень хорошо знал своего Раблэ, но был степенного нрава, немедленно обуздал эту непристойную веселость:

— Будем продолжать, господа,—сказал он с неудовольствием.

Спустя минуту я наклонился к Борние:

— Вас не слышали,—сказал я ему.

— Господа, господа,—закричал он озабоченно,—вы забываете о кольце Ганса Карвеля.

На этот раз поднялась буря веселости.

— Но, что с ними такое?—спросил у меня Борние.

— Не знаю,—ответил я ему лицемерно.

Разъяренный, герцог де-Брои закрыл заседание.

Выходя, он прошел около меня:

— Забавный простак, этот Борние,—сказал он мне.—Прекрасное имя, хорошее происхождение, старинный род из Перигора; но он пьет, как сапожник. И, конечно, когда выпьет лишнее, рассказывает такое свинство, что обезьяна покраснеет.

Вот, дорогой мой Арокур, вполне правдивый рассказ о моем избрании во Французскую Академию и о курьезном происшествии, которое с ним связано».

Франс продолжал:

— «Бессмертные ничего не читают. Они посвящают своих новых собратий, никогда не заглядывая в их книги. Они жалуют литературные премии, следуя тому же методу; потому что он кажется им хорошим. Иногда он подвергает их, всетаки, опасности нелепых промахов.

Знаете ли вы, мой дорогой Арокур, историю одной премии за стихи, присужденной Луизе Коллэ?»

— Нет, — ответил он.

Он также ответил бы нет, если б и знал ее, потому что он вежлив.

Франс. — «Луиза Коллэ во время второй империи была величественная, красивая женщина с несколько мужскими манерами, с голосом дворецкого и с глазами, которыми она умела пользоваться.

Она была замужем за плюгавым, маленьким человеком, скрипачем в Консерватории.

Великий философ, Виктор Кузэн, увидев ее, открыл в ней истину, красоту и добро. Он обошел маленького скрипача, как Сганарелль.

Это было в порядке вещей.

Луиза Коллэ побрякивала на лире. Она потребовала у своего метафизика доставить ей премию за стихи во Французской Академии.

Как мог отказать Кузэн в таком скромном вознаграждении за божественные часы?

Каждый божий год Луиза Коллэ получала свой венок. Это полагалось, как пирожное в праздник.

Однажды добрая женщина несколько поздно взялась за изготовление своего конкурсного произведения. Накануне последнего срока она не выжала еще из себя ни одного стиха.

Ее положение затруднительно. В тот вечер у нее собрались писатели и артисты. Случайно пришли Флобер и Буйе.

Они питали к ней дружбу, потому что она была обходительна и никого не стесняла.

После обеда она отвела их в уголок гостиной:

— Дорогие мои, — сказала она, — надо спасти мне жизнь.

И, сообщив им о своей печали, продолжала:

— Будьте милыми. Идите за мной в мой рабочий кабинет. Сюда. Усаживайтесь в эти два удобные кресла и до полуночи настройте мне двести строк о «Бессмертии». — Это тема, данная на конкурс. Вот бумага, чернила. Ах! забыла! Вы найдете мой табак и шнапс в этом стенном шкапу.

Она, действительно, имела обыкновение пить и курить, как дворцовый гренадер.

Затем она вернулась к остальным гостям.

Два друга курят, пьют, болтают.

Около одиннадцати часов Буйе восклицает:

— Однако, как же с «Бессмертием»?

— Ну его, — отвечает Флобер.

Они продолжают потягивать шнапс.

В двенадцать без четверти Буйе умоляет Флобера подумать, наконец, о «Бессмертии».

Флобер еще хмурится, затем, вдруг, схватывает с полки Ламартина и наудачу открывает его.

— Пиши, — приказывает он тиранически.

И подряд он диктует двести строк из «Гармоний».

Дело сделано: —

— Прибавь заглавие «Бессмертие», — говорит он. — Великолепно.

Он ставил «Гармонии» на место, когда появилась Луиза Коллэ.

— Готово, мои ненаглядные?

— Конечно, конечно, сообщили они неуверенным голосом.

Она пробежала листки и не узнала Ламартина.

— Не очень-то вы усердствовали, — сказала она, — но в конце концов, это сойдет. Вы — ангелы.

И она расцеловала их.

Она представила поэму — получила свою обычную премию с восторженными похвалами.

Стихи Ламартина напечатали за подписью Луизы Коллэ. В них увидели только вдохновение, потому что никто их не читал.

Флобер раскрыл свою мистификацию лишь спустя долгое время.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ

(Конец)

— Пусть будет так относительно академических премий,—сказал Арокур.—Это не важно. И я одобряю Бессмертных за то, что они не читают нудных произведений конкурентов-стихотропателей. Но избрание Академиков, это другое дело.

Вмешательство политики в особенности раздражало его.

Он опять начал оплакивать это обстоятельство.

Франс.—«Ваше огорчение изумляет меня. Так как, в конце концов, то, что происходит под Куполом, совсем не ново. И успех писателей почти всегда был политическим».

Арокур.—Однако, вы согласитесь со мною, что изящество или сила их слога играют некоторую роль в их славе.

Франс.—«Весьма возможно, мой дорогой друг, что мы сохранили на этот счет школьные представления».

Когда добрые, старые буквоеды в очках

заставляли нас в коллеже переводить какую-нибудь греческую трагедию, Эдипа в Колоне, например, они говорили нам:

— Заметьте, господа, изящество этого второго аориста. Обратите внимание на лаконичность этого родительного самостоятельного. Полюбуйтесь величием этого желательного наклонения.

Они прожужжали нам все уши сотнями подобных замечаний. И, пол конец, мы верили, что Софокл приводил в восторг своих современников своим грамматическим совершенством.

Но наши школьные учителя забывали только об одном обстоятельстве. А именно, что, прославляя Эдипа, фиванского героя, притесняемого своими соотечественниками и великодушно принятого афинянами, Софокл хотел прославить свой город за счет Фив, которые во время Пелопонесской войны являлись ожесточенным врагом Афин.

Благодаря этой справке, мы тотчас можем себе представить, что такое было, спустя немного времени после кончины престарелого поэта, первое представление Эдипа в Колоне: все зрители стояли, прерывая каждый стих восторженными восклицаниями, понося фиванцев, отмечая неистовым топанием ног прославление своего города. И мы открываем тогда глубокие причины, политические причины этого иступленного восторга.

Когда наши почтенные педагоги комментировали «Всадников» Аристофана, они тщательно анализировали парабазу, различали в ней комматиион, анапесты, пнигос.

И они указывали нам, что эта пьеса была совершенным образцом литературного жанра, называемого Древней Комедией.

Но вы, конечно, догадываетесь, что она представляла удовольствие другого рода для пирейских матросов. Что приводило их в восторг, так это видеть, как Аристофан за самые чувствительные места поддевает коллегу Клеона.

Представление прерывалось смехом, криками, пощечинами, ... так как я подозреваю, что дрались там знатно. Одним словом, это была политика.

Вам надо примириться с этим, мой дорогой Арокур. Чаще всего политика и литература перемешиваются друг с другом.

Разве нежный Вергилий не занимался в Риме пропагандой в пользу Августа?

А у нас разве автор Сиды не сделался помимо своей воли противником Ришелье? Разве его мятежница Эмилия не является польщенным портретом герцогини де-Шеврез? Разве Мольер не был борцом за молодого короля и трудолюбивую буржуазию против беспокойных и недовольных маркизов?

Хвалят иронию Вольтера, чувствительность Дидро, пронизательность Монтескье, резкость

Руссо. Их слог превосходен. Но, разве они получили бы столько похвал, если б их произведения не были неистощимым арсеналом политических аргументов?

И разве ошеломляющее фокусничество Виктора Гюго, его звонкозвучная ювелирная отделка рифм, его смелые противопоставления черного и белого сделали столько для его славы, сколько его злостные нападки на Наполеона Маленького?

Нет, мой дорогой друг, признайтесь, что в литературных репутациях литература едва принимается в расчет.

Ароккур.—И разве это не нелепо!

Франс.—«О нет, это совсем не нелепо!

Неужели вы считаете превосходством у людей, марающих бумагу, уединиться в уголок, чтобы выравнивать число слогов, подправлять эпитеты и вылащивать периоды, никогда не задумываясь об окружающем их человечестве?

Я думаю,—это скорее убожество».

Пока он говорил, мы вспоминали о его роли в еще недавнем известном «деле», о его «этюдах современной истории», о пламенных речах, которые он неустанно произносил на народных митингах.

— «Это хорошо», — продолжал он, — чтобы писатель волновался общими огорчениями и вмешивался иногда в ссоры на общественной площади.

Это не значит, чтобы я советовал ему льстить

одной партии и блуждать по избирательной кухне.

Я требую, чтобы он хранил независимость своей души, чтобы он смел всегда говорить правду и даже чтобы он заявлял о несправедливостях, совершенных его вчерашними друзьями. Я хочу, чтобы он парил. Я желаю, чтобы его мнения, суровые для эгоистических интересов, обычно считались химерическими и не имели никакой надежды быть признанными раньше нескольких десятилетий.

Смелость не только не повредит его слогу, но сделает его более мужественным и более гордым.

Вот почему, дорогой мой Арокур, я не считаю Французскую Академию столь виновной за то, что она занимается политикой».

— Простите, мэтр, — сказал кто-то из нас, — она виновна в том, что занимается плохой политикой.

Франс надвинул свою красную шапочку на ухо.

— «Можете ли вы мне сказать, — спросил он, — что отличает хорошую политику от плохой? Впрочем, я знаю... хорошая — это политика наших друзей, плохая — политика врагов».

СИМВОЛ ВЕРЫ НЕВЕРУЮЩЕГО

Анатоль Франс готовился напечатать свою «Жанну д'Арк».

Она стоила ему двадцати пяти лет работы...

Каждая страница была подскоблена, переправлена, изрезана ножницами.

Такова манера мэтра.

Когда бросаешь взгляд на его рукописи, поражаешься, видя, каким трудом досталась эта внешняя легкость, это непринужденное изящество. Хороший урок для учеников.

Он делал бесконечные исправления, изменял порядок фраз, находил новые переходы, разрезал свои листки на какие-то причудливые фигуры, ставил в начале то, что было в конце, вверху, что было внизу, и подправлял все кисточкой с клеем.

Некоторые части, уже набранные, были написаны вновь, потом восемь или десять раз переделаны в корректурных листах.

Франс выпускал множество прелестных мелочей.

Он добивался и достигал наибольшей простоты.

Читая его первоначальный текст, друзья говорили:

— Это — прекрасно! Это — превосходно! Не трогайте больше! Вы все испортите.

И с каждой корректурой они вынуждены были признавать все возрастающее совершенство.

Однако, Франс не решался выпустить на волю свою «Жанну д'Арк».

Он предполагал, что этот труд, написанный без всякой предвзятости, единственно из уважения к истине, удовлетворит лишь немногих читателей.

Однажды мы нашли его печальным.

Он разговаривал с Пьером Шампионом, ученым биографом Карла Орлеанского и Франсуа Вийона.

Он перенес на этого молодого ученого горячую дружбу, которую питал к его недавно умершему отцу.

Достойный издатель, Онорэ Шампион, основавшийся на набережной Малакэ, был знаком с отцом Анатоля Франса, книготорговцем Тибо, который совсем рядом, на набережной Вольтера, также имел книжную лавку с вывеской:

«Под французским гербом».

Пьер Шампион — улыбающийся и в то же время разочарованный. Голос у него ласковый и

заглушенный. Он беспрестанно мечтает. Он не живет со своими современниками, но — с теньями прошлого. Почти всегда он закутан в большое кашне, вероятно, из страха простудиться в сыром мраке истории.

Так как XV век — его область, и ему ведомы там все дороги, тропинки и закоулки, он помогал Анатолю Франсу перечитывать корректуры «Жанны д'Арк».

— Итак, — спросил он, — когда же она появится?

Франс. — «Я бы хотел, чтобы это случилось скоро, но вы знаете, мой друг, припадки печени сильно задержали меня последнее время, и я боюсь, что опять буду остановлен».

Тогда Жан-Жак Бруссон, секретарь мэтра, осведомился у него тоном сыновнего участия:

— Вам еще нездоровится?

Франс. — «Нездоровится? Нет, но я встревожен. Вам известно, как эта болезнь препятствует работе; потому что вы сами испытали ее. Оттого-то вы и жалеете меня: так как в других жалеют самого себя».

Бруссон. — О нет, дорогой мэтр, я не жалею вас. Если госпожа природа, которая чудно одарила вас сокровищами духа, помучит немножко ваше тело, это будет только справедливо.

Франс. — «В самом деле?»

Бруссон. — Если б у меня был ваш гений,

я радостно переносил бы самые жестокие недуги.

Франс. — «Этот ребенок не знает, что он говорит».

Шампион. Все-таки, в его рассуждениях есть некоторый смысл. Но, — возвращаясь к вашей «Жанне д'Арк», — я жду и не дождусь, когда буду апплодировать ее триумфу.

Франс. — «Ваша дружба вводит вас в заблуждение. Моя книга не понравится... Да, уверяю вас, она не понравится. В ней совершенно не найдут того, чего будут искать. О, я прекрасно угадываю, чего от меня ждут: повествования, начиненного притворно благочестивыми непристойностями. Публика будет разочарована.

Мне надо было бы, например, говорить подробнее о девственности моей героини, об испытаниях, которым ее подвергали, об осмотре повивальных бабок по поручению судей.

Но я не хотел этого.

И, однако, искушение было сильно.

Между документами процесса по реабилитации находятся пикантные показания относительно непорочности «девственницы».

Полководцы, которые были ее товарищами по оружию, и которые близ нее ночевали вповалку в лагерях, призывают небо в свидетели, что ни одно нечистое желание не касалось их. Они сами простодушно изумляются этому. Эти люди, которые считали делом чести постоянное

волокитство за женщинами, удивляются своей сдержанности по отношению к святой девушке. В ее присутствии, по их словам, их плоть молчала. Это для них самое изумительное из чудес и явное знамение божественного вмешательства».

Иасент Луазон¹⁾.—Значит, вам кажется достоверным, мэтр, что она сохранила свою непорочность?

Франс.—«Поистине, в этом нет и тени сомнения».

Повивальные бабки в Пуатье решительно, под присягою, свидетельствовали в ее пользу, хотя относительно этого осторожный Соломон советует мудрецу воздерживаться от суждений.

Подумайте также, что для современников эта добродетель, сохраненная в обществе последних разбойников, была великим поводом к изумлению. О малейшей слабости разблаговестили бы немедленно.

Наконец, когда Жанна была в руках англичан, ей случилось заболеть. И доктора, которые лечили ее, конечно не упустили случая проверить то, что так интересовало судей.

Если бы следствие закончилось ее посрамлением, ее обвинители могли бы, по понятиям той эпохи, на законном основании объявить ее

¹⁾ Недавно скончавшийся Иасент Луазон был сыном знаменитого диссидентского священника.

колдуньей и в одержимой Сатаной. Стратегия Вельзевула была действительно проста и безошибочна. Если он хотел властвовать над женщиной, он начинался с того, что отнимал у нее самое существенное.

Повидимому, после этой первой жертвы она ему более ни в чем не отказывала. Она становилась его покорной рабой.

И, пожалуй, это суеверие было основано на истине. Потому что женщины слепо повинуются тому, кто овладевает их чувственностью. Луазон. — Словом, дорогой мэтр, что вы думаете о Жанне Франс. — «Что это была доблестная девушка, весьма преданная своему королю. Я в полном восторге от ее храбрости и в ужасе от страшного бесчеловечия богословов, отправивших ее на костер» (Дрейфус). — Итак, вы совершенно разделяете мнение Мишлэ?

Франс. — «Почему бы нет?» Дрейфус. — Во всяком случае, вы не влюблены в Жанну? Мишлэ бредил ею. Он видел и слышал ее. Он нисколько не удивлялся ее видениям. Она являлась ему самому. Послушайте, вот — факт, которому я был свидетелем.

1) Дрейфус, умерший после того, был известным архивистом-палеографом.

Однажды, будучи проездом в Руане, я увидел старика Мишлэ, сидящего на тумбе у подножия большой башни, где когда-то находилась в заключении Жанна.

Я подошел поздороваться с ним и внезапно увидел, что веки его распухли от слез.

— Что с вами? — спросил я у него, сильно взволнованный.

— Она там, — ответил он мне, показывая на башню.

Потом внезапно, как бы пробудившись ото сна, воскликнул:

— О, простите, друг мой, я совершенно забылся.

Франс. — «Мне нравится этот анекдот, так как славный Мишлэ весь в нем. Чтобы писать историю, он охотно пользуется галлюцинациями».

Шампион. — Метко сказано.

Луазон начал вновь допрашивать хозяина.

— Скажите откровенно, — спросил он, — ваше восхищение перед Жанной не нарушается ее Голосами?

Франс. — «Нисколько».

Луазон. — Как, ее видения не кажутся вам бессмысленными?

Франс. — «Но, друг мой, мы все их имеем».

Луазон (смущенный). — Как так?

Франс. — «Хотите современные примеры? Вспомните о деле Дрейфуса. Наш друг Франсис

де - Прессансэ беспрестанно призывал тогда истину и справедливость. Он говорил о них, как о живых существах. Я уверен, что он видел их.

А разве Золя не возвещал, что «истина грядет»?

Он также созерцал ее, как живую.

Я думаю, она являлась ему в виде прекрасной брюнетки с серьезным лицом. Быть может, она походила на госпожу Сегон-Вебер. Она была одета в белый пеплум, как актрисы французского театра, когда они изображают античных богинь, и она высоко держала сверкающее зеркало.

Впрочем, я ошибаюсь: истина Золя должна была быть более натуралистической. И, может быть, она напоминала Мукетту, показывающую... вы знаете что.

Во всяком случае, он видел ее, как я вас вижу.

А все-таки, я спрошу у вас, друг мой, существуют ли Справедливость и Истина?»

Луазон. — Не осязаемо, конечно, но они существуют.

Франс. — «Послушайте, вот и вы также становитесь духовидцем.

Справедливость и Истина, мой дорогой Луазон, существуют только постольку, поскольку люди желают их. А они их желают не слишком горячо.

Но, если Золя и Прессансэ дозволили во-
ображаемым божествам руководить собою, будем
ли мы смеяться над Жанной д'Арк по поводу
ее святых отцов, святых жен и всего ее воинства
небесного?»

Луазон открыл рот для возражения.

Но Франс тотчас добавил:

— «Вы скажете мне, что она видела вокруг
себя десять миллионов ангелов, и что это много.
Ясно, что это больше того, что когда-либо ви-
дели Прессансэ и Золя. Но, в конце концов,
зачем придирааться к числу?»

Мы расхохотались.

Франс продолжал:

— «В XV веке химеры преследовали всех
людей. Если Жаннета видела свои «Голоса»,—
как она наивно выражалась,—ее судьи, которые
хотели уличить ее в колдовстве, с железной не-
поколебимостью верили в демонов.

Но, в то время, как видения Жаннеты были
лучезарны и звали ее к самым благородным по-
ступкам, призраки ее мучителей были нечисты,
гнусны и чудовищны.

Однако, успокойтесь, мой дорогой Луазон.
Если я извиняю видения бедной пастушки, если
я восхищаюсь ими, из этого еще не следует,
чтобы, излагая ее историю, я сам верил в чу-
деса.

Напротив, я беспрестанно напоминал себе,
что обязанность ученого заключается в объясне-

нии всех фактов посредством естественных причин.

И я старался выявить то, что сделало логически возможной миссию Жанны.

Это было прежде всего и главным образом общее легкоеверие эпохи. Оно подкреплялось у Арманьяков пророчествами Мерлина и Беды Почтенного о девственнице, которая должна была освободить королевство.

Для войск Дофина и для ополченцев Жанна была кумиром, одно присутствие которого возбуждало их фанатизм, заставляло забывать об опасности и давало им победу.

За то ее репутация чародейки внушала чрезвычайный страх англичанам, которых до того времени так боялся французский народ, и которых обычно звали «куэ», т. е. хвостатые дьяволы. Верили, действительно, что у них был сзади небольшой хвост.

Все могущество Жанны, которое, несомненно, было велико, происходило от влияния, которое она, сама того не ведая, оказывала на умственную слабость своих современников. Прибавьте сюда пример доблести, которую храбрая девушка проявляла при всяком случае.

Когда тщательно разбираешь ее чудесное предприятие, оно вызывает такое же удивление, как очень яркая звезда, рассматриваемая в самый сильный телескоп: каково бы ни было увеличение, звезда—всегда лишь точка без диаметра.

Жанна сама по себе была ничтожна, но тот-
с же образовавшаяся вокруг нее легенда была
истинна и не перестала сиять.

Надо сказать еще, что миссия ее была, может
быть, легче, чем думают; потому что англичане
были утомлены и немногочисленны.

Не будем забывать также большого искусства
Карла VII и его советников. Так как все убе-
ждает меня, что если Карл VII совершенно не
был воителем, то, во всяком случае, он был очень
умотворительным политиком, умевшим добиться
от горожан большего мягкостью, чем принужде-
нием, полагавшимся скорее на дипломатию, чем
на силу оружия, словом, одним из тех хороших
царей, которые создали величие старой Фран-
ции своей осторожностью, своей хитростью и
своей настойчивостью».

Шампион (очень мягким голосом). — Не
смейтесь, дорогой мэтр, вас будут осуждать
за то, что вы объяснили по-человечески эту
чуждую историю и, — говоря богословским
языком, — изгнали из нее «харизмы»¹⁾.
Я заранее слышу ваших обычных противни-
ков. Они скажут, что ваши руки скептика не
имеют права прикасаться к этому святому лику.
Франс (со внезапной живостью). — «Скеп-
тик! Скептик! Действительно, они еще раз на-
зывают меня скептиком. И для них — это худшее
осуждение».

1) По-гречески — действие благодати (прим. перев.).

Но для меня—это лучшая из похвал.

Скептик! Но все великие представители французской мысли были скептиками. Скептики — Раблэ, Монтень, Мольер, Вольтер, Ренан... Скептики — все самые высокие умы нашей расы, все те, кого я чту с трепетным благоговением, будучи лишь смиреннейшим из их учеников».

Голос Франса, когда он произносил эти слова, внезапно задрожал, утратив свое привычное бесстрашие, и на его всегда насмешливом лице отразилось волнение.

Он продолжал:

— «Скептицизм! Из этого слова делают синоним отрицания и бессилия.

Но наши великие скептики были иногда самыми утверждающими и часто самыми смелыми из людей.

Они отрицали только отрицания. Они нападали на все, что сковывает разум и волю. Они боролись с невежеством, которое отупляет, с заблуждением, которое угнетает, с нетерпимостью, которая тиранит, с жестокостью, которая пытается, с ненавистью, которая убивает.

Их обвиняют в том, что они были неверующими. Надо бы узнать сначала, добродель ли легкоеверие, и не является ли истинным мужеством подвергать сомнению то, верить чему нет никакого основания.

Но не трудно было бы доказать, что фран-

ские гении, называемые скептиками, исповедовали самый возвышенный символ веры!

Каждый из них изложил какой-нибудь член

Раблэ, исполненный важности шут, провозглашает величие терпимости.

Подобно ему, пирроник Монтень, благогоуно преклоняется перед античной мудростью. Былая про колебания своего «что я знаю», вызывает к жалости против свирепости религиозных войн и против варварства судебных ней. В особенности чтит он святость дружбы. Мольер пламенно восстает против страстей и объединяющих людей предрассудков и проповедует возвышенные идеи общественности

Во время своих самых безумных выпадов ерующийся Вольтер никогда не теряет из виду идеал разума, науки, доброты... да, доброты. Потому что этот великий сатирик был злым для злых и глупцов.

Наконец, Ренан всегда оставался священником и только очищал религию. Он верил в божественное, в знание, он верил в будущее людей. Итак, все наши скептики были полны рвения, все трудились для освобождения своих братьев от цепей, которые их обременяли. Поэтому, они были святыми».

Кто-то сказал:

— «Святой Ренан»: это заглавие одной главы «Воспоминаний детства и юности». Но никто

Но для меня—это лучшая из похвал.

Скептик! Но все великие представители французской мысли были скептиками. Скептики — Раблэ, Монтень, Мольер, Вольтер, Ренан... Скептики — все самые высокие умы нашей расы, все те, кого я чту с трепетным благоговением, будучи лишь смиреннейшим из их учеников».

Голос Франса, когда он произносил эти слова, внезапно задрожал, утратив свое привычное бесстрашие, и на его всегда насмешливом лице отразилось волнение.

Он продолжал:

— «Скептицизм! Из этого слова делают синоним отрицания и бессилия.

Но наши великие скептики были иногда самыми утверждающими и часто самыми смелыми из людей.

Они отрицали только отрицания. Они нападали на все, что сковывает разум и волю. Они боролись с невежеством, которое отупляет, с заблуждением, которое угнетает, с нетерпимостью, которая тиранит, с жестокостью, которая пытается, с ненавистью, которая убивает.

Их обвиняют в том, что они были неверующими. Надо бы узнать сначала, добродель ли легковерие, и не является ли истинным мужеством подвергать сомнению то, верить чему нет никакого основания.

Но не трудно было бы доказать, что фран-

цузские гении, называемые скептиками, исповедывали самый возвышенный символ веры.

Каждый из них изложил какой-нибудь член его.

Раблэ, исполненный важности шут, провозглашает величие тернимости.

Подобно ему, пирроник Монтень, благоговейно преклоняется перед античной мудростью. Забывая про колебания своего «что я знаю», он взывает к жалости против свирепости религиозных войн и против варварства судебных казней. В особенности чтит он святость дружбы.

Мольер пламенно восстает против страстей и разъединяющих людей предрассудков и проповедует возвышенные идеи общественности.

Во время своих самых безумных выпадов неверующий Вольтер никогда не теряет из виду свой идеал разума, науки, доброты... да, доброты. Потому что этот великий сатирик был злым лишь для злых и глупцов.

Наконец, Ренан всегда оставался священником и только очищал религию. Он верил в божественное, в знание, он верил в будущее людей.

Итак, все наши скептики были полны рвения, все трудились для освобождения своих ближних от цепей, которые их обременяли. По своему, они были святыми.

Кто-то сказал:

— «Святой Ренан»: это заглавие одной главы из «Воспоминаний детства и юности». Но никто

еще не говорил о святом Вольтере или святом Раблэ.

Не отвечая на шутку, Франс продолжал:
— «Этих исполинов укоряют за то, что они слишком полагались на человеческий разум.

Что касается меня, я не доверяю ему чрезмерно. Я знаю, как он слаб и неустойчив.

Но я вспоминаю остроумную притчу Дидро: «Чтобы помочь мне найти дорогу ночью в густом лесу,—говорил он,—у меня имеется лишь чуть мерцающий огонек. Подходит богослов и задувает его».

Будем сначала следовать разуму — это самое верное. Он сам предупредит нас о своей слабости и укажет на свои границы.

К тому же он не только не враждует с чувством, но ведет к нему.

После многих размышлений о бесполезности вечного движения Вселенной, о ничтожности жалких людей и о нелепых страданиях, которые они причиняют друг другу во время такого короткого сна бытия, самые скептические из мыслителей исполнились глубокого соболезнования к своим ближним.

От этого соболезнования до братской любви — только один шаг. Он делается быстро. Жалость становится действенной, и тот, кто считал себя навеки от всего оторванным, страстно бросается в бой, чтобы помочь своим несчастным братьям.

Да, друзья мои, таковы чувства скептиков».

Мы молча выслушали это пламенное исповедание веры.

А Франс, почти извиняясь, сказал:

— «Я увлекся, не правда ли... Но потому, что бедные скептики уж слишком непризнаны.

В конце концов, это самые страстные идеалисты. Только это идеалисты разочарованные.

Так как они мечтают об очень возвышенном человечестве, они огорчаются при виде людей столь не похожих на то, чем они должны были бы быть. И их постоянная ирония — только выражение их отчаяния. Они смеются, но их веселость всегда прикрывает жестокую горечь. Они смеются, чтобы не заплакать».

Пьер Шампион вставил лукавое замечание:

— Если бы Жанна д'Арк была скептиком хорошей школы, как знать, быть может, она совершила бы из любви к человечеству великодушные поступки, внушенные ей верою?

— «Конечно, нет, — ответил Франс, улыбаясь, — потому что одни духовидцы совершают подвиги.

Но, о коварный Пьер Шампион, заметьте, что наименее религиозный из людей, Вольтер, также умел быть храбрым, добиваясь, вопреки всем духовным и судебным властям, реабилитации Каласа, Сирвен, кавалера де-Ла Барра и Лалли-Толлендаля.

Заметьте, что, если он согрешил, написав

«Девственницу», этот неверующий первый потребовал алтарей для Жанны д'Арк ¹⁾.

Заметьте еще, что, если бы судьи Жанны д'Арк, вместо того, чтобы быть фанатическими богомольцами, были философами-скептиками, наверно, они не сожгли бы ее.

Заклучите отсюда, мой дорогой друг, что скептицизм внушает самые гуманные чувства и что, во всяком случае, он запрещает преступления.

Я высказал мой символ веры. Аминь».

¹⁾ Анатолий Франс делает намек на следующую фразу во «Всеобщей Истории»:

«Наконец, когда ее обвинили в том, что однажды она снова надела мужское платье, оставленное ей нарочно, чтобы ввести ее в искушение, эти судьи, которые, несомненно, не имели права судить ее, так как она была военнопленной, объявили ее еретичкой, обратившейся к расколу, и сожгли на медленном огне ту, которой, как спасительнице своего короля, воздвигли бы алтари в героические времена, когда люди воздвигали их своим освободителям».

ПРОФЕССОР БРАУН ИЩЕТ СЕКРЕТ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Закутанный в свой теплый шелковый халат, цвета беж с коричневыми полосками, и в своей вечной огненно-красной шапочке на голове, Франс сидел за своим рабочим столом.

Он перелистывал старинную книгу в переплете из свиной кожи.

Через окно, разукрашенное вставленными в оловянную оправу донышками от бутылок, которые господа стекольщики называют «сивами», лился на писателя нежный, преломленный свет.

Словно на картине Рембрандта, философ, размышляющий в своей келье, или, еще лучше, доктор Фауст, изучающий Каббалу.

Хозяин дома поднялся, чтобы приветствовать нас.

— «Вы недоумеваете, — сказал он, — что это за почтенная книга? Это *Chronologie collée*. Я отыскивал в ней портрет Раблэ».

Он перелистал несколько страниц.

— «Взгляните, вот он. Его гравировал Леонардо Готье, через какие-нибудь пятьдесят лет после смерти великого сатирика. У нас не имеется портрета, который был бы нарисован при его жизни, и это маленькое изображение — самое раннее воспроизведение черт его лица.

И весьма вероятно, что оно на него похоже ¹⁾. Как вы думаете?».

Реми де-Гурмон ²⁾, находившийся среди нас, посмотрел на изображение и сказал:

— Какое противное выражение лица! Настоящий злой рождественский дед. Его лоб изображен глубокими морщинами и вздутыми, тол-

¹⁾ Правда, Л'Этуаль, купивший la Chronologie collée в момент ее появления в 1601 году, написал над головою Рабле следующее замечание: «Которая на него ничуть не походит». Таким образом, он свидетельствовал против сходства этой гравюры. См. H. Clouzot. Les portraits de Rabelais, Gazette des Beaux-Arts, 1908.

Но, может быть, легенда, уже образовавшаяся вокруг мэтра Алькофрибаса, вытеснила в уме Л'Этуалья воспоминание о степенном человеке, которого он знал когда-то, заменив его условным типом гениального шута.

²⁾ Реми де-Гурмон любил бывать у Анатоля Франса.

Приходя в соприкосновение, эти два очаровательные, редкие ума рассыпали искры, подобно железу и кремню, и слушать их было божественным наслаждением.

Реми де-Гурмон был парадокс в образе человека, но парадокс часто более разумный, чем обычный здравый смысл.

Он был — сама чувствительность, но отвратительная язва, которая разъедала ему лицо, заставляла его сторониться людей и страдать от невысказанной нежности.

От огорчения он часто иронизировал и иногда даже над любовью.

В то утро мы встретились с ним на авеню Булонского леса перед приходом его к Франсу.

стыми, как канаты, жилами. А его впалые глаза светятся мрачным блеском.

Конечно, мы представляем себе кюрэ в Медоне более жизнерадостным.

«Никогда, — говорит Ронсар, — как бы ни было рано, солнце не видело его не выпившим. И никогда, на исходе дня, темная ночь, как бы ни было поздно, не видела его не пьющим... Он ложился прямо на стол, между чаш; и среди грязных мисок, пачкаясь без всякого стыда, он полоскался в вине, как лягушка в грязи».

Но эта вакхическая эпитафия должно быть ложет. Потому что «Гаргантюа» и «Пантагрюэль» совсем не смешны; Леонар Готье прав.

В течение минуты мы вместе смотрели на сизых горлиц, которые целовались друг с другом в траве. Реми де-Гурмон заметил:

— Древние приносили в дар Венере голубок за их сладострастие. Однако, они были неправы, потому что есть существа, еще более жаждущие любви.

— Какие? — спросили мы, заинтересовавшись.

— Улитки.

Мы вздрогнули от отвращения и недоверия.

— Да, улитки, — продолжал он. — Зоологи учат нас, что госпожа Природа, в своей щедрости к этим зверюшкам, одарила их высшим счастьем. Каждой она дала сразу атрибуты самца и самки. И в каждой паре улиток, каждое маленькое существо с режками испытывает двойное удовольствие: в одно и то же время оно является любовником и любовницей.

Жаль, что эти создания слишком медленно двигаются, потому что они более, чем голубки, заслуживают везти колесницу Киприды.

В такой шутилой дружеской беседе мы дошли до дверей господина Бержерэ.

Франс.—«Я думаю так же, как и вы. Раблэ не весельчак, каким его представляют себе. Его слова и выражения грубы и вольны, но его выдумки глубокомысленны. Он произносит суровые проповеди.

В общем, его веселость только внешняя. И его смех плохо маскирует присущую ему степенность».

— Его угрюмый вид не должен бы удивлять,— сказал кто-то из нас,—так как это был ученый.

Франс.—«Простите, Раблэ не был тем, что мы называем ученым, потому что он никогда не бывает скучен. Он не весел, но он не утомляет.

Когда ему пришлось издавать «Афоризмы» Гиппократата, он даже не считал нужным сохранить комментарии подлинника. Почему? Без сомнения, потому, что он не считал их интересными.

А что такое ученый? Это—убийственно скучный человек, который изучает и публикует из принципа все, что совершенно лишено интереса.

Поэтому-то Раблэ и не ученый.

Однако, он обладал довольно солидной эрудицией, с этим надо согласиться.

И для человека, наименьшей заслугой которого считалась ученость, его ученость была уже недюжинной.

И разве некоторые фанатические поклонники не приписывают ему универсальной компетентности?

Например, по поводу военных действий Гарибальди против Пикроколя, они утверждают, что Рабле был великим стратегом.

Но это насмешка.

Если рассуждать подобным образом, каждый писатель был бы совершенным тактиком.

И я держу пари, что напишу, если угодно, брошюру в сто пятьдесят страниц о Поль де-Кокке, как тактике.

Я возьму подлинные слова из «Рогоносца». В этом романе выведен старый солдат, который учит какаду выкрикивать: «Смирно!.. На караул!.. На плечо!..» и т. п.

В моем рассуждении я буду изощрять свое красноречие на эту тему.

Посмотрите, скажу я, какой превосходный тактик этот Поль де-Кок. Он досконально знает военное искусство. «На караул», — это действительно, команда, отдаваемая солдату, чтобы заставить его поднять свое ружье.

Я буду продолжать:

По этому поводу мы сделали справку в военном руководстве 1830 года; там, на странице двадцать пятой, в параграфе третьем мы нашли команду «на караул». Это движение разлагается на следующие: поднять оружие правой рукой на высоту плеча, схватить его левой рукой и т. д...

Я использую таким образом все попугайское знание ученой птицы.

Заключение: в тактике Поль де-Кок мог бы поучить кое-чему Наполеона Первого.

И вот, шутка была бы сыграна.

По правде сказать, в искусстве сражений мэтр Алькофрибас был осведомлен не больше Поль де-Кока.

А разве в «Гаргантюа» не распознавали также намеков на войны Франциска Первого и Карла Пятого?

Чистые бредни.

Особенности работы воображения у Раблэ установлены. Совсем не великие события современности вдохновляли его, а, напротив, очень мелкие факты, воспоминание о которых сохранилось у него от дней юности.

Некоторые собственные имена, которые он употребляет, являются именами лиц, которых он знал.

Я не поручусь, однако, что действительность дала ему имена Юмвен и Бэзкю. Но самый эпизод этих двух сутяг был ему внушен судебным делом, к которому он был причастен.

Распри между Грангузье и Пикрошолем также воспроизводят ссоры, которые доводили до драк турэнских крестьян, и шутовские отголоски которых забавляли его.

Без сомнения, он хотел нам внушить, что, в сущности, войны самых гордых властителей удивительно напоминают кулачные бои мужиков. Истина, полная тонкой иронии.

Нет, друзья мои, Раблэ совсем не был великим стратегом. Он довольствовался тем, что был великим писателем».

Жозефина ввела господина Брауна, «профессора филологии Сиднейского университета».

Это — толстый, крепкий человек, с лицом кирпичного цвета, с выбритыми губами и подбородком; крепость его мускулов свидетельствует об усердных занятиях гольфом и поло. Он носит золотые очки. Его зачесанные наперед морковные волосы жестки, как щетина вепря.

Его англо-саксонская элегантность поразила нас.

Вблизи его костюм был сплетением толстых волокон, которые представляли все тона радуги; но на некотором расстоянии он принимал неопределенный зеленоватый цвет пюре из протертого гороха.

Его мягкий воротник, низко вырезанный на бычачьей шее, был повязан тоненьким красным бантом, который возвещал о завоевательных намерениях.

Желтые туфли, длинные и широкие, как пароходы, дополняли одеяние этого солидного ученого и австралийца.

Франс.— «Что вам от меня угодно, господин профессор?».

Господин Браун, изъяснявшийся по-фран-

цузски с величайшим затруднением, и к тому же стесняясь от робости, которая душила его в присутствии знаменитости, пролепетал, как мог:

— Я... вас... Я хотел смотреть вас.

Франс.—«Я очень польщен этим, господин профессор, и удовольствие взаимно. Садитесь же на этот стул и удовлетворите ваше желание».

Приняв приглашение, Браун заговорил вновь:

— Я искал... я хотел знать чудо... секрет гения литературы...

Франс.—«Если я правильно понимаю вас, вы готовите диссертацию о гениальности в литературе».

— Yes,—прорычал профессор Браун, весь просияв от того, что его поняли.

Франс.—«Как раз, когда вы входили, по счастливому совпадению, у нас шел разговор об одном из величайших французских и мировых гениев, о Раблэ».

— Yes, Раблэ! Yes!

Глаза господина Брауна засверкали от радости.

Франс.—«В чем заключается тайна его гения? Вы задаете мне затруднительный вопрос!

Какими качествами превосходил он других писателей?»

— А разве не говорили, что он писал плохо,—заметил кто-то.

Франс.—«Все великие писатели пишут плохо, это известно».

По крайней мере, так заявляют литературные зоилы.

Великие писатели буйны. Непринужденная выразительность их речи, ослепительный блеск их стиля, смелость их оборотов приводят в замешательство педантов.

Для школьных учителей, писать хорошо — это, ясное дело, писать по правилам. Но чистокровные писатели сами составляют для себя правила или, лучше сказать, у них нет правил. Каждую минуту, по приказу вдохновения, они меняют свою манеру: они то певучи, то шероховаты, то бесстрастны, то неистовы.

Потому они не могут писать хорошо по общепринятому мнению.

Почему бы с этим и не согласиться? Раблэ не лишен недостатков. Его нагромождения существительных, залпы эпитетов, бесконечные ряды глаголов свидетельствуют, конечно, о неистощимом вдохновении, но слог его отягощен ими.

Не трудно было бы найти у старинных авторов больше правильности, ясности и плавности.

Le Ménagier, например, который был написан ранее «Гаргантюа», включает в себе восхитительные рассуждения о хлебе, вине и пчелах. Правда, старинный язык может вводить нас в обман; потому что отдаленность придает очарование вещам прошлого, и мы находим прелесть

в том, что не представляло никакой прелести для прежних людей.

Однако, я не думаю, чтобы я ошибался, Le Ménagier написан восхитительно. Это был бы хороший Раблэ, если бы это был Раблэ... т. е. если бы там не отсутствовал гений.

И, точно так же, «Сказки» Сеньера Дезаккора очаровательны. Его слог плавен и благозвучен. Он лучше слога Раблэ. Тем не менее, великий писатель — Раблэ, а не Сеньер Дезаккор».

Один из нас подал мысль:

— Мольер также пишет плохо.

Франс. — «Да, Мольер также пишет плохо. И Сен-Симон, и Бальзак, и все, уверяю вас.

Во времена Мольера некоторые писатели, гораздо менее знаменитые, Сент-Эвремон и Фуретьер, например, употребляли более обработанный синтаксис. Они были чище. Но зато — Мольер — это Мольер, т. е. не хороший, а великий писатель».

ПРОФЕССОР БРАУН ИЩЕТ СЕКРЕТ ГЕНИАЛЬНОСТИ

(Продолжение)

Профессор Браун не упустил ни одного слова из разговора.

Он слушал, несомненно, не только ушами, но также своими вытаращенными глазами и, в особенности, своим раскрытым ртом.

Наконец, набравшись храбрости он бросился в разговор, очертя голову:

— Я... постоянно... считал, что великие писатели были те... которые премного работали.

Мы с учтивым беспокойством следили за его лепетом.

Франс спросил у него самым вежливым образом:

— «Вы, может быть, думаете, господин профессор, об известном выражении Бюффона: «Гений — это великое терпение».

— Ао!.. — выкрикнул австралиец со взглядом, увлажненным бесконечной благодарностью.

Франс.—«Но я сильно подозреваю, что эта сентенция ложна».

Облако грусти набежало на лицо господина Брауна, но он раскрыл рот с еще большею жадностью.

Франс.—«Да, это утверждение неверно. Гении—не самые старательные из смертных. Или, скорее, на этот счет нет никаких правил».

Некоторые гении, я признаю это, чрезвычайно прилежны.

Наш Флобер—из их числа. Он перебирал сто фраз, чтобы написать одну. И Дюма-сын очень верно говорил о нем:

— Это мастер, который вырубает целый лес, чтобы смастерить один шкаф.

Но другие гении чрезмерно небрежны. И этот сорт, может быть, наименее редок.

У Раблэ (чтобы вернуться к нему) встречается масса недосмотров.

Он сам сознается, что посвящал своим произведениям только время, определенное для вкушения телесной трапезы, т. е. время питья и еды.

Он не писал. Он диктовал. И его необузданное воображение несло вкачь.

Так, размеры его великанов беспрестанно изменяются. Они—то выше башен собора Парижской Богоматери, то не превосходят человеческого роста.

В конце своей второй книги он возвещает, что Панург женится и будет рогоносцем в первый же месяц после своей свадьбы, что

Пантагрюэль найдет философский камень и что он возьмет в жены дочь пресвитера Иоанна, царя Индийского. Но ничего подобного не происходит в дальнейших книгах. Раблэ совершенно забыл свой прекрасный план.

Одним словом, это был самый беззаботный из гениев».

Реми де-Гурмон.—О, лучший испанский писатель, Сервантес, едва ли не был еще менее тщателен. Его необдуманность выдает себя на каждом шагу.

На другой день по отъезде Дон Кихота из дому, его экономка говорит священнику, что он уехал шесть дней тому назад.

Санчо оплакивает потерю своего осла, украденного у него вором Хинесом де-Пасамонте, а через несколько страниц он вновь усаживается на свое животное, возвратившееся невредомо откуда и как.

Жена Санчо называется сначала Жанной, а потом Терезой.

А вот что еще важнее. Толстый оруженосец рыцаря Ламанчского не сразу является таким, каким он выказывает себя в продолжении романа; только закончив несколько глав автор снабжает его, например, такой забавной страстью—извергать потоки пословиц.

Таким образом, во многих местах образцового произведения Сааведры обнаруживаются признаки наспех сделанной работы.

Франс. — «Что я вам говорил, господин профессор? А чтобы взять пример из ваших гениев, не уличить ли нам за кампанию и вашего Шекспира в рассеянности?»

Припомните, он говорит и повторяет, что ведьмы сделали Макбету три предсказания.

Действительно, они приветствуют его трижды: — Тан Гламисский, Тан Кавдорский и Король.

Но так как Макбет уже был Гламисским Таном, когда они появились перед ним, то здесь только два предсказания, а не три, не в обиду будь сказано вашему великому Вилли.

Я не останавливаюсь на гавани в Богемии, на часах, которые бьют в древнем Риме, и на многих других милых промахах, которые вам известны.

Незнание или невнимание?

Во всяком случае, вы видите, с какой непринужденностью, наспех создают гении свои великие произведения.

Что бы там ни говорили, терпение — их последняя добродетель. Они совсем не трудятся. Они велики, как прекрасные женщины прекрасны: без усилия.

Эта мысль несколько оскорбляет прописную мораль, — согласен с этим. Хотелось бы, чтобы слава приобреталась ценою некоторого труда. Предлагая молодым людям гениев в образцы, обыкновенно говорят им: Работайте хорошенько! Трудитесь изо всех сил! Вы будете им подобны.

И, действительно, это было бы справедливо.

Но, увы, природа смеется над справедливостью. Посредственности истекают потом и кровью, чтобы родить пустяки. Гении, играя, сеют чудеса.

Словом, гораздо легче написать гениальное произведение, чем сборник плохих стихов.

Потому что все легко... свыше отмеченному смертному».

Господин Браун казался убитым.

Всетаки он упорно продолжал свою анкету:

— Тогда, господин Френч, не думаете ли вы, что... основательное качество... больших писателей,—это красота воображения.

Франс.—«Богатство воображения?».

Господин Браун.—Ао!

Франс.—«Может быть».

Реми де-Гурмон.—Право, это более чем сомнительно. Напротив, почти все великие писатели выкраивали свои прекрасные платья из сукна, вытканного другими. По выражению Мольера, они брали свое добро везде, где его находили. Чем более перечитываешь Раблэ, Мольера, Ла-Фонтена, будем называть только их, тем яснее видишь, как уменьшается доля их собственной выдумки.

Франс.—«Совершенно справедливо, мой дорогой друг.

Им редко принадлежит основной сюжет. Они заимствуют его и только придают ему новый вид.

В наше время как раз из всех сил стараются развенчивать гениев. Это—модное занятие.

Выискивают источники их произведений. Их хулители возвещают об их плагиатах. Их фанатические поклонники делают тоже самое: но они заботливо поясняют, что когда павлин похищает у сойки несколько голубых перьев, чтобы присоединить их к узору своего хвоста, сойке нечего жаловаться, потому что павлин оказывает ей большую честь.

И после того, как враги и ханжи в течение каких-нибудь двадцати лет хлопочут вокруг идола, кажется, что он обращается в прах.

Что остается от Раблэ после трудов раблэзианцев?

И от Сервантеса после исследований его обожателей?

И от Мольера после изысканий мольеристов?

По правде сказать, я думаю—они остаются теми же, что были всегда, т. е. великими людьми.

Но современная критика, указывая нам, где именно подобрали они каждый камешек своей мозаики, в конце концов, могла бы нас уверить, что их слава похищена у других.

У Раблэ, например, ничто больше не является его собственностью. Нам говорят: эта страница

принадлежит Тори, а та—Лукиану, вот эта—Томасу Морусу, а следующая—Колонне.

И это верно.

Более того, Раблэ кажется даже менее умным, чем авторы, которыми он вдохновляется, да, менее умным.

Сравните рассказ о Лиможском студенте у Тори и в «Пантагрюэле».

Я напомню о нем в двух словах.

Добрый великан Пантагрюэль встречает молодого бездельника, который хвастается, что учится в Париже, и говорит на французском языке, дико перемешанном с латынью.

Чтобы сообщить, что он имеет обыкновение утром и вечером переходить через Сену, он говорит:

— Nous transfrétons la Séquane, au dilucule et au crépuscule.

И в пылу игривых излияний, он рассказывает, что парижские студенты любят: *inculquer leurs vérètres ès pudendes de mérétricules amicalissimes*, и т. д., и т. д.

Некоторое время Пантагрюэль слушает его в остолбенении. Затем вдруг, потеряв терпение, он хватает его за горло и трясет, как яблоню. Тогда студент в испуге пачкает свои штаны и начинает молить о пощаде на лимузинском наречии.

Таков рассказ.

Тори начинает с объяснения, почему его

действующее лицо говорит сперва по-латыни. Потому, что этот провинциал не умеет говорить по-французски.

Из живых языков, он владеет только своим местным наречием. И если он прибегает к латыни, то отнюдь не из желания корчить ученого, но потому, что латынь была универсальным языком, эсперанто той эпохи.

Потом, в тисках у великана, он внезапно заговорил на своем природном языке, т. е. полимузински.

Раблэ, напротив, не дает никаких объяснений, и у него, поэтому, весь эпизод менее понятен.

Но так как он не ограничивает наших догадок, мы предполагаем, что если студент говорит на якобы ученом жаргоне, в который входит гораздо меньше французского языка, чем латыни, то это для того, чтобы внушить к себе уважение и огоршить Пантагрюэля.

И мы от всей души хохочем, когда этот напыщенный невежда своим провинциальным бормотанием внезапно выдает свое низкое происхождение.

Таким образом, он чудесно символизирует претенциозное ничтожество поддельных ученых — краснобаев.

И рассказ менее мотивированный тем самым приобретает гораздо большее значение.

Подобным же образом сравните «Икарومه-

ниппа» Лукиана и эпизод с дровосеком Куйятрисом в прологе четвертой книги «Пантагрюэля».

Вы увидите, что Раблэ кажется менее умным, чем Лукиан.

В «Икарומениппе» Юпитер, открыв небольшой трап у подножья своего трона, наклоняется, чтобы внимательно слушать желания смертных.

Исполненный справедливости, отец богов и людей тщательно отделяет разумные просьбы, чтобы исполнить их, и яростно дует на рой безрассудных молений, чтобы отогнать их от себя.

Юпитер Раблэ, наоборот, не придерживается никакой системы. Так как от страшного гула прошений, несущихся со всех концов вселенной, у него трещит голова, он не знает, как выйти из этого отчаянного положения.

Он все перепутывает. И наудачу осыпает смертных благодеяниями или обременяет напастями.

Заметьте, однако, что под этой экстравагантной формой шутовское граничит с возвышенным.

У Лукиана было риторическое преувеличение. У нашего Раблэ — глубокая сатира на слепую судьбу.

Вот каким образом великие люди не могут ошибаться. Чтобы они ни делали, они всегда правы: потому что их выдумка — не результат хладнокровного расчета, но — движение могучего врожденного инстинкта.

Они творят, как матери рожают детей.

Все статуи, изваянные ими, дышат, они сами не знают почему. Даже кривоногие и косопластые, они трепещут жизнью. Они рождены жизнеспособными, тогда как изображения, более правильно вылепленные другими скульпторами, остаются мертвыми».

Господин Браун все больше и больше впал в уныние, так как ему не удавалось постигнуть, чем гении одерживают верх над обыкновенными смертными.

Всякий раз, когда он думал открыть в них какое-нибудь превосходство, оно исчезало при исследовании.

С мужеством отчаяния он заговорил, отчеканивая слова:

— Если большие писатели... они не воображают сами вещей... может быть, они лучше сочиняют...

Франс.— «Вы, говорите, они обладают искусством изложения?»

По правде сказать, господин профессор, я думаю, что и в этом вы ошибаетесь.

Я прекрасно знаю, что композиция считается первым и непреложным условием в искусстве писать.

Это одна из основных истин, которые наш мудрый Университет внушает своим питомцам, как непререкаемую догму.

Вне плана, нет спасения! Таково правило.

На литературное произведение смотрят, как на сложную теорему, отдельные положения которой подчинены одно другому, вытекают друг из друга и стремятся к С. Q. F. D. ¹⁾

Но у многих гениев мы не замечаем ничего подобного.

Раблэ, Сервантес, Свифт весьма мало заботились о «построении» своих романов.

Слишком очевидно, что мэтр Алькофрибас совершенно не ведал, куда он шел.

Когда он начинал «Пантагрюэля», он, конечно, не знал наверно, что он туда всунет. Эпизоды в беспорядке следуют друг за другом, и все они — превосходны. Чего еще надо? Это причудливая и божественная прогулка.

Панург хочет жениться, но ему страшно стать рогоносцем.

Он вопрошает по этому поводу мудрецов и шутков.

Потом он уезжает, чтобы посоветоваться с оракулом Святой Бутылки. И вот, вместе с ним мы плывем по синим волнам. Зигзагами двигаемся мы от берега к берегу. Беспреданно рассказываются нам все новые приключения, которые не имеют ни малейшего отношения к жгучей заботе Панурга.

¹⁾ Специфически школьное выражение старых учебников математики, означающее — «Что и следовало доказать». *Прим. пер.*

Где найти план во всем этом?

Самые лучшие произведения—на шарнирах. Туда засовывают все, что желают. Они расширяются, надуваются, раздвигаются по мере того, как создаются.

Ободренный успехом первой книги, автор продолжает...

Это случилось с «Пантагрюэлем», то же случилось и с «Дон-Кихотом», о котором только что говорил Гурмон.

Подобно Раблэ, Сервантес повинуетея только своей фантазии. Он идет, возвращается, бежит, останавливается, отдыхает на лугу, забирается в леса. Он посещает то пастухов, то вельмож, то разбойников. У него нет цели.

В своем «Дон-Кихоте», он выказал столько не-принужденности, что, конечно, всякий другой проиграл бы игру. Но он ее выиграл. Бывают такие привилегии.

Теоретически, интерес его повествования должен бы был постепенно уменьшаться.

Тот род комизма, которым Сервантес пользуется в начале, действительно, более забавен, по крайней мере, в принципе.

В начале романа лишь одно безумие героя возбуждает смех. Он является жертвой только самого себя. Он одурачен своим собственным расстроенным воображением, которое заставляет его принимать мельницы за великанов и стада баранов за войско.

Далее здравый смысл почти совершенно возвращается к нему. И он уже не сам вызывает свои несчастия. Это бездельники сеньоры проделывают над ним тысячи гнусных шуток. Они доводят его до помешательства при помощи всевозможных пиротехнических выдумок. Они усаживают его с завязанными глазами на деревянную лошадь, которую они раскачивают, и уверяют его, что он путешествует по воздуху. Они впускают в его комнату разъяренных котов, которые царапают ему лицо. Словом, нет такой злостной выдумки, которую бы они не пустили в ход против него.

Можно было бы опасаться, что забавность этих мистификаций будет нарушена чувством негодования, которое они возбуждают.

Нисколько. Этот превосходный роман увлекает вас все сильнее и сильнее, вплоть до последней страницы. Это кажется чудом».

Реми де-Гурмон.—Но разве у хороших авторов высшее искусство не заключается в том, что они беспечно отдаются своему капризу, который так хорошо руководит ими?

Франс.—«Мой дорогой друг, все очаровательно в писателях, которых мы любим. По отношению к ним наша снисходительность безмерна. И мы хвалим в них то, что осуждаем в других.

Так как мы заранее предполагаем, что они превосходны, они всегда кажутся нам таковыми.

Вот, слушайте, со мной самим случилось однажды довольно забавное происшествие.

Я отдал в одну газету рукопись романа.

Так как я собирался путешествовать, я разделил ее на тетрадки, из которых каждая представляла фельетон.

Эти листки разложили по отделениям шкапа для рукописей, в котором было много полок.

По воле рока наборщик ошибся. Он стал вынимать тетрадки из отделений, следуя сверху вниз, а не слева направо, как было нужно.

Мой роман оказался без хвоста и головы. Но никто этого не заметил. И даже несколько изысканных умов похвалили меня за восхитительные изгибы моего воображения.

Я был им благодарен за их восторг.

Наверно, мой дорогой Гурмон, ваши основания для того, чтобы восхищаться непоследовательностью Раблэ и Сервантеса, бесконечно более законны.

Действительно, к чему нам знать, куда они нас ведут? Разве мы уже недостаточно счастливы тем, что вместе с ними останавливаемся у тысячи цветущих привалов, рассеянных на их пути?

Сама несвязность их фабулы походит на непредвиденное в жизни. Это дни, текущие за днями.

И затем, надо сказать, в их произведениях чувствуется могучее единство другого рода, чем единство искусно завязанной интриги.

Это — последовательность их ума.

Эпизоды разрознены, но играющая в них мысль всегда пряма и тверда.

Это прекрасное внутреннее сияние, которое освещает, оживляет и объединяет самые разнообразные приключения.

Поэтому, какое благородство в «Дон-Кихоте!» Какая гордость! Сколько прикрытой улыбкой горечи! Сколько возвышенной поэзии и сколько доброты!

Чтобы еще лучше оценить эти редкие качества, надо прочесть безвкусную подделку Авельянеды.

Вы знаете, что этот испанец, современник Сервантеса, осмелился написать продолжение «Дон-Кихота», чтобы отнять у автора часть его славы и прибыли.

Сервантес возмутился. И он был прав, потому что при его жизни этот плагиат должен был вредить ему.

Но я очень хотел бы, чтобы теперь этот плоский кропотливый труд подражателя был напечатан в одном издании с образцовым произведением искусства: карикатура заставила бы еще ярче засиять оригинал.

И как раз в то время, когда Сервантес проявляет свой гений, отдаваясь своему непосредственному вдохновению, другой строит план, ставит себе цель.

Авельянеда пишет только для того, чтобы доказать превосходство веры.

К этому клонятся все его истории.

И какие истории! Сейчас вы будете судить о них.

Санчо, например, встречается прекрасную мавританку. И в порыве восторга он восклицает:

— Дай Бог, чтобы все блохи в моей постели походили на эту молодую магометанку!

— Как, Санчо?—немедленно брюзжит Дон-Кихот. — Ты ли это говоришь так легкомысленно? Ты, муж Терезы? Подлинно, твоя супруга оскорбительно безобразна. Но она хорошая христианка, Санчо. И наша святая Мать Церковь повелевает тебе находить ее обольстительнее самых красивых мусульманок.

Но что Авельянеда чит выше всего, это—благоговение к четкам.

Он неистощим относительно милостей, предназначенных для благочестивых людей, которые усердно перебирают свои четки. Между назидательными и нелепыми поучениями, которые он вышивает на этой канве, имеется одно, довольно известное, потому что наш Нодье сделал из него рассказ. Я не знаю даже, каким образом этому рассказчику удалось сообщить некоторую приятность такому убогому нравоучению.

Вот тема:

Одна монахиня, молодая сестра привратница, которую заметил изящный вельможа, проходя мимо полуоткрытых ворот монастыря,

завязала знакомство с обольстителем и решила бежать к нему.

Несмотря на свою преступную страсть, она не переставала выказывать горячую любовь и уважение к Святой Деве. В момент бегства из монастыря порыв сердца направил ее в часовню Пречистой Марии. И она положила на ступени алтаря свое монашеское платье, снятое ею, чтобы надеть мирскую одежду.

Около своего любовника, она испытала, как вы и ожидаете, только разочарование, страдания и муки. Это надо было предвидеть.

Через несколько лет, изнемогая от скорби, с душой, терзаемой угрызениями совести, проходит она около своего старого монастыря.

Она вновь входит в него. Она направляется к часовне Пресвятой Девы.

О чудо! Ее платье—на ступенях алтаря, на том самом месте, куда она положила его. Она снова его надевает.

Минуту спустя встречается она с молоденькой сестрой, которая, ничуть не удивляясь ее возвращению, говорит с нею так, словно заблудшая овца никогда не покидала овчего двора.

— Сестрица, Матушка Настоятельница требует связку ключей, которую она передала вам сегодня утром.

И раскаявшаяся грешница, действительно, находит висящими на ее поясе ключи, которые у нее спрашивают.

Внезапное откровение озаряет ее ум.
Во все время ее долгого и печального приключения преблагая Дева, растроганная ее горячими молитвами и снисходительная к ее слабостям, приняв ее вид, носила ее платье и выполняла ее обязанности в монастыре.

О, великая сила молитвы по четкам!»
Тут Франс внезапно обратился к господину Брауну:

— «Послушайте, господин профессор, если бы четки внушали вам благоговение, — но благоговение глубочайшее, о, тогда в это самое время Пресвятая Дева читала бы за вас курс филологии в Сиднейском университете».

За своими золотыми очками господин Браун завращал выпученными от испуга глазами.

— Однако, дорогой учитель, — возразил Жан-Жак Бруссон, секретарь Франса, — Пречистой Деве, несомненно, было бы несколько трудно заменить лицо другого пола.

Франс. — «Вы ошибаетесь. Ей ничто не трудно. Была бы только большая набожность».

Доказательством тому является другая история Авельянеды:

Один очень храбрый рыцарь проявлял удивительное рвение к молитве по четкам.

Как-то в праздник, на рассвете, вошел он в храм Пресвятой Богородицы, чтобы присутствовать на обедне.

Он был настолько улажден ею, что захотел прослушать вторую, затем третью обедню.

Потом еще долгое время оставался он погруженным в свои молитвы.

Около полудня сознание действительности вернулось к нему. И вдруг он вспомнил, что утром должен был отправиться на торжественный турнир, чтобы биться с подобными себе рыцарями.

Он послал много вызовов. Как же объясняли противники его отсутствие? Конечно, оно было понято, как бегство. Что будет с ним? Его честь погибла!

Он выходит из церкви.

Едва очутившись на улице, он слышит восторженные крики приветствий.

Он думает, что над ним смеются. Краска заливает ему лицо. Он отбивается от своих поклонников.

— Пустите меня,—говорит он им,—пустите меня! Я не заслужил ваших насмешек!

— наших насмешек! Но никогда не бывало более искренних приветствий.

— Перестаньте, говорю я вам! Я скоро отмщу за себя.

— Что вы говорите о мести! Вы—победитель из победителей!

В это мгновение рослый детина с расколотыми доспехами подходит к нему и говорит:

— Позвольте мне пожать вам руку. Нельзя питать злобы к столь храброму противнику!

Тогда сомнения благочестивого рыцаря рассеиваются. Великое чудо совершилось ради него.

В то время, когда он с таким умилением молился, пречистая дева, сама пречистая дева приняла его вид, села на коня, вступила в единоборство, повалила дюжину хвастунов вверх ногами на песок арены и пожала обильные лавры для своего верного богомольца.

После чего Франс повернулся к своему секретарю:

— «Эх, вы, неверующий!»

И затем к профессору из Сиднея:

— «Вы видите, дорогой господин Браун, что для пресвятой богородицы заменить вас было бы сущим пустяком... по крайней мере, если верить Авельянеде».

Господин Браун.— Но религия меня... не позволяет благоговения к богородице.

Франс.— «Поистине, господин профессор, это очень печально для вас».

ПРОФЕССОР БРАУН ИЩЕТ СЕКРЕТ ГЕНИАЛЬНОСТИ

(Конец)

Профессор Браун совсем не был удовлетворен.

Он глядел на паркет с угрюмой печалью.

— «Господин профессор,—спросил Анатолий Франс,—скажите мне, пожалуйста, чем вызвана забота, написанная на вашем лице?»

— Господин Браун. — Ах! Господин Френч, я был еще менее подвигнут теперь, чем входя: потому что, если я хорошо понял, большие писатели, они не имели никакой заслуги, ни правильности в слоге, ни труда в хорошей работе, ни воображенности, ни распределения историй.

Франс.—«Договоримся получше. Некоторые авторы имеют эти качества. Но многие другие, не имея их, всетаки гениальны. Это доказывает, что они не необходимы для великих писателей».

Господин Браун (настойчиво).—Тогда какие качества, скажите, необходимы?

Его отчаяние было комично. Он имел вид человека, потерпевшего кораблекрушение, который ищет спасательный круг в разъяренном море.

Франс.—«Дорогой господин Браун, что такое достоинство и что такое недостаток? Вот что нужно бы прежде всего узнать».

С минуту он оставался задумчивым, потом обратился ко всем нам:

— «Ведь правда. Эти термины совершенно относительны. Что хорошо для одного судьи, то плохо для другого. И, в особенности, что является достоинством для одного поколения людей, становится недостатком для последующих поколений».

Кстати, Броссет делает очень любопытное замечание. Он приводит мнение Дэпрео о Малербе.

Малерб, заявляет автор «Поэтического Искусства», не был свободен от недостатков, в которых он упрекал своих предшественников. Так, у него встречаются иногда неожиданные рифмы.

Вот, значит, какая теория была в ходу в великом веке. Чтобы считаться хорошей, рифма должна была быть предвидена читателем или слушателем.

Например:

Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable
Je pérís la dernière et la plus misérable 1).

1) Раз так угодно Венере—из этого достойного сожаления рода я умру последней и наиболее несчастливой.

В этих двух стихах Расина рифма была превосходной для его современников, потому что она была предвидена: *déplorable* — естественно вызывала *misérable*.

И эта рифма кажется нам плохой как раз по этой самой причине.

Заметьте хорошенько, что у Расина некоторые рифмы кажутся нам превосходными, например, следующая:

Ah! Qu'ils s'aiment, Phénix, j'y consens. Qu'elle parte!
Que charmés l'un de l'autre, ils retournent à Sparte ¹⁾.

Но именно эти рифмы современники считали дурными, так как они были непредвиденны.

У нас, у парнасцев, напротив, требовалось, чтобы рифма поражала и была необычайна.

Мы замирали от восторга, когда очаровательный Теодор де-Банвиль щеголял какой-нибудь забавной рифмой, вроде следующей:

des escaliers
Qu'un Titan, de sa main gigantesque, a liés ²⁾.

Я прошу у вас извинения, господин профессор. Эти замечания по поводу французского стихосложения, конечно, слишком специальные, чтобы вас интересовать.

¹⁾ Ах! Пусть они любят друг друга, Феникс, я согласен. Пусть она едет! пусть, влюбленные друг в друга, они возвратятся в Спарту.

²⁾ Лестницы, которые связал титан своей исполинской рукой.

Но я сейчас выберу более яркие примеры, чтобы показать вам, что вчерашние качества часто бывают сегодняшними недостатками.

Если вам угодно, вернемся к вашему Шекспиру».

— Ао!—вздохнул господин Браун.

Франс.—«Джульетта говорит Ромео:

— Если мои родители тебя увидят, они убьют тебя.

На что Ромео отвечает:

— Твои глаза для меня опаснее двадцати мечей.

Мы называем это вычурностью, и для нас— это недостаток.

Другой пример:

В «Гамлете» Лаэрт, оплакивая смерть своей только что утонувшей сестры Офелии, скорбно восклицает:

— Бедная сестра моя, ты уже слишком вымокла, и я не должен бы проливать над тобою слез.

Вместо того, чтобы растрогать, это заставляет нас смеяться, не правда ли?

Как вам известно, эти натянутые остроты встречаются у великого Вилли в большом количестве. Мы их осуждаем. По нашему мнению, это погрешности против вкуса. Это пятна, прискорбно омрачающие великолепие Шекспира.

Но надо заметить, что все авторы при дворе Елизаветы писали подобным образом. Напы-

шенность царила в поэзии. Это было торжество условной жеманности. Стихотворцы изъяснялись только остротами. Любовь, ненависть, надежда, огорчение, все страсти преподносились под видом ребусов и шарад.

По поводу влюбленного Александра Великого, самый знаменитый современник Шекспира, Лили, делал следующее замечание, которое он считал остроумным:

«Дух, величие которого не могла вместить орбита всей вселенной, находится теперь в плену маленькой орбиты очаровательного глаза».

Но, подумайте немного.

Если вычурность была тогда всеобщим недостатком, то она уже переставала быть недостатком вообще. Совершенно напротив, она становилась достоинством.

Чем более поэт был вычурен, тем более им восторгались. Чем более непонятен, тем более им восторгались.

И главной заслугой Шекспира для англичан его времени было как раз то, что мы считаем его важнейшим недостатком.

Все прославленные авторы подвергаются подобной участи.

Нам не нравится в них именно то, чем восхищались их современники.

Данте иногда утомляет нас какой-то собственной ему абракадаброй. Он приписывает особую силу цифрам. Он объясняет таинственное влияние числа 9 и его корня 3.

Он развивает целую непостижимую символику, в которой лес олицетворяет страсти, волчица—скупость, лев—гордость, пантера—сладо-
страстие, а Беатриче Портинари—торжествующую теологию.

Эти претенциозные туманности приводят нас в замешательство. Они испортили бы Данте, если бы что-нибудь могло нам его испортить.

Но что же мы видим? Схоластический XIII век до безумия увлекался этими загадками, и обилию их обязан был Данте почти всей своей славой.

Точно так же, когда Рабле начинает свои романы древними языками, когда он нагромождает цитаты и ссылки на различных авторов, он выводит нас из терпения. Однако, в XVI столетии именно эта псевдо-научная торжественность и восхищала читателя. Этот античный соус казался таким же необходимым в книгах, как римские профили в памятниках Филибера де-л'Орм, языческие развалины на расписных стеклах Жана Кузена и пляшущие сатиры на эмалях Пенико.

Но я вижу, вы задумались, мой дорогой Гурмон».

Реми де-Гурмон.—Я думаю, что если основания для того, чтобы наслаждаться великими писателями так меняются, то традиционное восхищение ими, действительно, очень загадочно.

Франс.—«Очень загадочно, в самом деле. В конце концов, если продолжают их любить, то, может быть, лишь по привычке».

На этот раз, господин Браун подскочил скандализованный:

— Ао! господин Френч. Не говорите! Не говорите! У хороших авторов, я уверен, есть достоинства, которые всегда остаются достоинствами, yes, всегда! всегда!

Анатоль Франс иронически посмотрел на своего собеседника и медленно, тоном снисхождения, произнес:

— «Да, может быть, вы правы, господин профессор».

И он прибавил, глядя на Реми де-Гурмона:

— «Да, конечно, не правда ли? Всетаки».

Это обычный у него набор выражений.

Когда в споре, после всестороннего обдумывания, после долгих колебаний он, наконец, как будто приходит к заключению, он часто ухватывается за какое-нибудь подобие истины, какую-нибудь утешительную вероятность.

— «Да, конечно, не правда ли? Всетаки!..»

Это значит, что предположение не вполне достоверно, но могло бы быть истинным, и, во всяком случае, полезно признавать его таковым.

«Да, конечно, не правда ли? Всетаки!.. Великие писатели обладают вечными достоинствами».

Тут любопытство господина Брауна удвоилось, и рот его раскрылся еще шире.

Франс.—«Если мельчайшие брызги их пера приводят нас в восхищение, то это потому, что твердый ум и чуткое сердце водят всегда их рукою.

Пусть их синтаксис несколько хромает. Самими погрешностями своими он свидетельствует о порывах духа, которые властвуют над ним. Это синтаксис страсти.

Пусть они грабят направо и налево и пускают иногда нить своих историй. Главное у них не рассказ, как бы прекрасно ни был он изложен, а чувства и мысли, которые они в него вкладывают.

Как баюкающая детей кормилица, наугад разматывают они перед нами клубок восхитительных рассказов, пришедших из тьмы времен.

Мы протягиваем губы к приманке. И они подносят нам мудрость вместе с медом своих вымыслов.

Так веками одни и те же анекдоты служат для выражения быющей через край мысли мудрейших из смертных.

Первой добродетелью всех действительно великих людей является искренность.

Они вырывают лицемерие из своего сердца; они бестрепетно обнажают свои слабости, свои сомнения, свои пороки. Они вскрывают себя. Они выставляют на показ свою обнаженную душу, чтобы все их современники узнали себя в этом образе и изгнали из своей жизни разъедающую ее ложь.

Они смелы. Они храбро нападают на пред-
рассудки. Никакая власть светская, нравствен-
ная или безнравственная не страшит их.

Но иногда, в самом деле, откровенность бы-
вает так опасна, что может стоить им свободы
или даже жизни.

При режимах с самыми либеральными вы-
весками, так же как при самых тиранических,
достаточно провозгласить то, что будет при-
знано справедливым и хорошим через пятьдесят
или сто лет, чтобы попасть в тюрьму или на
эшафот.

Так как лучше говорить, нежели молчать,
мудрецы часто прикидываются безумцами, чтобы
им не зажали рта.

Они скачут, трясут свой шутовский колпак
и гремят своей побрякушкой, выкрикивая самые
разумные нелепости.

Им позволяют плясать, потому что прини-
мают их за шутов. Не надо сердиться на них
за эту военную хитрость.

По поводу убеждений, которые были ему
дороги, Раблэ насмешливо заявлял: «Я буду их
защищать до костра... исключительно».

Был ли он неправ? И если б он взошел на
костер, можно ли было бы нам наслаждаться
теперь его пантагрюэлизмом?

Великие писатели не имеют низкой души.
Вот, господин Браун, в чем их тайна.

Они горячо любят своих ближних. Они

великодушны. У них всеобъемлющее сердце. Они сочувствуют всем страданиям. Они трудятся, чтобы их утешить. Им жаль бедных актеров, которые разыгрывают комическую трагедию или трагическую комедию судьбы.

Видите ли, господин профессор, сострадание—это сама основа гениальности».

—Ао!—воскликнул господин Броун, глаза которого теперь радостно сияли за золотой оправой,—позвольте мне пожать вам руку, господин Френч.

И он закатил ему такой shake-hand, что едва не вывихнул плеча.

ПРЕКРАСНАЯ КУКЛА И НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Как-то утром Жозефина сказала нам, что ее хозяин принимает посетителей в библиотеке.

Мы вскарабкались поэтому в третий этаж, т. е. на самый верх домика, так как господин Бержерэ устроил свою библиотеку, свою «книжную лавку», как сказал бы Монтень, под самой крышей своего жилища.

Вы толкаете старинную дверь, обитую кожей, древний тамбур ризницы.

Вы входите. Вам кажется, что вы очутились в часовне. Витражи, расписанные старинными гербами, пропускают таинственный свет.

Эти мягкие лучи лениво скользят по низкому потолку, затянутому тисненой золотистой кожей. Они сверкают на чашах, дароносицах, дискосах, кадилъницах, которыми переполнены многочисленные витрины.

Анатолий Франс ярый коллекционер религиозных предметов. Нет смертного с более церковными вкусами.

И прежде всего, как благочестивый отшельник, он живет на опушке леса. Правда—это хорошенский лесок: Булонский лес. Там можно встретить больше нимф и наяд, чем диких зверей.

Мэтр одет в длинное монашеское одеяние: правда, оно нежного оттенка и из мягкой материи.

Подобно аббатам в церквях, он носит вечную скуфейку: правда, она огненно красного цвета.

Иногда он надевает также белый с розовым рисунком головной убор, похожий на индийскую чалму. Он заимствовал его из провинции Бордо, где часто живет. Тамошние служанки обматывают себе подобным образом головы легкой шелковой тканью, которая придает им восточную грацию.

Но господин Бержерэ гораздо охотнее носит свою алую бархатную шапочку.

Она играет большую роль в его мимике.

Бессознательно придает он ей различную форму соответственно своим мыслям.

Когда он весел, шапочка задорным острием торчит кверху. Она является как бы карикатурой тиары или венецианского *cornuto*.

Минутами, когда он иронически повышает тон, она принимает величественный вид пшента, которым гордились египетские фараоны.

Когда он слушает собеседника, он откиды-

вает ее на затылок, чтобы позволить мыслям свободнее проникать под его чело; когда он размышляет, он надвигает ее себе чуть не на нос, чтобы лучше сосредоточиться под этим козырьком.

Его длинный профиль с высоким лбом, с орлиным носом, еще удлинен бородкой. Линии его скорее нежны, чем энергичны. Они производят впечатление полного, умудренного спокойствия; но черные глаза, удивительно черные и невероятно живые, пытливые и пристальные, нарушают безмятежность маски.

Этот взгляд, искрящийся насмешкой на почти бесстрастном лице—это весь Франс. Это колкость его ума, которая прорывается сквозь прекрасную размеренность мелодичных фраз.

Весь облик его в целом—чудо тональности.

Цвета слоновой кости матовая кожа, серебряные волосы, усы и бородка, красный бархат образуют гармонию, которая всякому колористу внушила бы непреодолимое желание схватить палитру и кисти.

Мэтр высок ростом и худ. Он чуть чуть гнется вследствие природной беспечности, которая увеличивает его обаятельность. Сильвестр Боннар, член Института, имел «добрую спину», по выражению княгини Треповой.

У Анатоля Франса спина ласковая и ироническая, как у Вольтера на статуе Гудона.

Молодым писателям и старым друзьям,

которые приходят наслаждаться его речами, он медленно и слегка в нос проповедует свою снисходительную философию.

И никогда духовный оратор не проявлял столько умиления, проповедуя веру, как Франс, осуждая суеверие.

Его остроты тем убийственнее, чем бесстрастнее его голос. Когда он говорит, словно сам с собою, когда он бросает какое-нибудь замечание самым безобидным тоном, глядя на кончики своих меховых сапог с отворотами лилового «египетского» цвета, тогда-то бывает он наиболее опасным врагом; внезапно его черные глаза пронизывают вас, как два острия шпаги.

Во время спора он любит помещаться на фоне огромного камина стиля Ренессанс, в котором мужчина может встать во весь рост.

Навес этого очага украшен итальянскими картинами: святые вокруг богородицы, нежно держащей младенца. Там видны также два ангелочка из раскрашенного дерева, которые порхают, играя.

Дополним убранство библиотеки.

Действительно, не упустили ли мы из виду самого главного, книг?

Они заполняют множество полок от паркета до потолка.

По большей части это старинные книги в кожаных переплетах цвета копченого окорока, или переплетенные в желтовато-белую свиную

кожу, или еще в пергамент антифонариев, расцвеченный красными и черными нотами и расписными буквами. Переплеты последнего вида были выдумкой Франса, и почти все его друзья переняли это прелестное нововведение.

Случайный критик интервьюировал автора «Таис». Он хотел напечатать в серьезнейшем журнале кропотливый этюд об его интеллектуальном облике.

Мэтр благосклонно подчинялся его любопытству.

Бегло припомнили его школьные годы.

Анатоль Франс воспитывался в коллеже Станислава. Это обстоятельство стоит упоминания разве лишь потому, что благодушно-приветливая внешность Франса сохранила что-то, напоминающее о его духовном воспитании.

В конце концов, оно не так уж плохо, раз оно создало Вольтера, Дидро, Ренана и господина Бержерэ.

— «Заметьте, милостивый государь, — сказал хозяин шутливо, — заметьте, что я не был допущен к экзамену на бакалавра.

Это — важное обстоятельство. Да, милостивый государь, я получил нуль по географии.

Вот как это произошло.

Меня экзаменовал отец Газ. Этот славный немец, ученейший эллинист, был назначен пре-

подавателем во французском коллеже во время Империи, которая по своему была склонна к интернационализму.

Случалось, ему поручали задавать коварные вопросы экзаменующимся, и эта тяжелая обязанность выводила его из себя.

— Мой юный друг, — сказал он с истинно германским добродушием, — я получил от вас очень хорошие отзывы.

И он продолжал, но я избавлю вас от его акцента:

— Ну-с... — я буду вам предлагать легкие вопросы. Сена впадает в Ламанш, не так ли?

— Да, сударь — ответил я с любезной улыбкой.

— Хорошо. Очень хорошо... Луара впадает в Атлантический океан, так ведь?

— Да, сударь.

— Прекрасное начало... Жиронда так же впадает в Атлантический океан, не правда ли?

— Конечно, сударь.

Вы превосходно отвечаете... Рона впадает в озеро Мичиган, не так ли?

Полный доверия, я даже не вслушался в коварный вопрос:

— Да, сударь, — ответил я попрежнему, улыбаясь.

— А, а, Рона впадает в озеро Мичиган, — заворчал отец Газ. — Друг мой, вы ничего не знаете. Вы осел. Вы получите круглый нуль.

Мы расхохотались.

Но этот анекдот не удовлетворил критика. Он желал более серьезных указаний.

— Мне хотелось бы получить сведения о ваших источниках, — сказал он. — Во многих произведениях, и в особенности в «Саду Эпикура», вы выказываете глубокие научные познания. Так, вам хорошо известна астрономия. Не могли ли бы вы указать, по каким сочинениям вы ее изучали.

— Конечно, это мне легко сделать. Я навел справки в книге Камилла Фламариона, озаглавленной, мне кажется, «Астрономия для детей младшего возраста». Нет, я ошибся, точное заглавие: «Популярная астрономия».

Наш критик упал с облаков.

Франс. — Я черпаю также мою солидную эрудицию из Словаря Ларусса. Да, милостивый государь, Словарь Ларусса очень полезное издание».

Критик не мог прийти в себя.

Наш хозяин, повидимому, забавлялся его изумлением и нарочно вызывал его.

— Друг мой, — сказал он, — суть дела, быть может, не в моем научном багаже, который легковесен, а скорее в том впечатлении, которое современные открытия производят на духовную восприимчивость, воспитанную долгим общением с тонкими, проницательными и гуманными писателями нашей родины».

Он указал на старые книги, переполнявшие полки его библиотеки.

— «Вот мои источники. Вы найдете здесь только великих или интересных писателей, которые говорили хорошим французским языком, т. е. которые хорошо мыслили. Потому что одно неразрывно связано с другим. По поводу того, что я видел и узнавал в наше время, я старался возможно лучше сказать то, что сказали бы эти прекрасные умы прошлого, если бы они увидели и узнали то же самое».

Жозефина подала ему визитную карточку. Он надел свои огромные роговые очки, подобные тем, которые мы видим на некоторых портретах, написанных Эль Греко или Веласкесом.

— «От моего друга Б.? Попросите войти».

Появился молодой человек, белокурый, розовый и безбородый.

— «Что вам от меня угодно?» — спросил Франс.

Молодой человек (глядя себе живот сверкающим цилиндром). — Бел... бе... ба... ба... Господин Франс... мэтр... вы... дело в том... я...

Франс (самым отеческим тоном). — «Садитесь, друг мой».

Молодой человек (покраснев, как маков цвет). — Я пришел, чтобы... Моя кузина собирает автографы... И вот... вы... я... она...

Франс. — «Она послала вас попросить у меня автограф».

Молодой человек (просияв). — Да. Да, мэтр. Я был бы так счастлив доставить удовольствие моей кузине.

Франс (растроганный). — «Это похвальное намерение, дитя мое. Но, куда, черт возьми, девалось мое перо?»

Молодой человек. — О, мэтр. Мне не хочется сейчас беспокоить вас.

Франс. — «Так я пришлю вам то, что вы желаете. У меня есть ваш адрес. Что больше любит ваша прелестная кузина, стихи или прозу?»

Молодой человек (на седьмом небе). — Стихи.

Франс. — «Прекрасно, я пришлю вам стихи».

После этого юноша, весь розовый, расклялся.

— Трижды и четырежды благословен автограф, — сказал кто-то, — потому что он должен доставить этому милому юноше благоволение его кузины.

Франс. — «Прося у меня стихов, он польстил мне, потому что я не поэт».

Стали возражать. Назвали «Золотые поэмы» и «Коринфскую свадьбу».

— «Я писал стихи, — сказал он. — Однако, я не поэт. Я думаю не стихами, но прозой, и перелагаю свою прозу в стихи».

Истинные поэты думают сразу стихами. Это верный признак.

Я знал одного поэта, который иногда даже говорил стихами: Антони Дэшан. Это был не плохой поэт и, по моему мнению, заслуживал большей славы.

Воспоминание о нем преследует меня, потому что я видел его в потрясающей обстановке.

Он сошел с ума. По выздоровлении, он не захотел покинуть лечебницу, так как влюбился в жену директора.

Мы приходили его слушать, когда он читал свои стихотворения во дворе больницы.

На каждом полустииши какой-нибудь сумасшедший подходил взглянуть на него в упор, насмешливо хохотал, затем убегал.

Другие приседали перед ним на корточки, высовывали язык, ходили на четвереньках, кружились вокруг нас. Он осторожно отодвигал их рукою и продолжал декламировать.

Словно Торквато Тассо среди сумасшедших или Данте в аду.

Это фантастическое видение до сих пор преследует меня.

Виктор Гюго также говорил иногда стихами.

И вдруг наш хозяин сказал самым невинным тоном:

«В самом деле, что такое поэзия? Развлечения мальчишек. Попросту, игра в корзиночку».

— Что вы положите в мою корзиночку?

— «Тростиночку, шерстиночку, лучиночку».

Он сам возразил себе:

— «Я, конечно, шучу.

Нет, рифма не забава. В нашем языке, где мало чувствуется разницы между долгими и короткими слогами, это единственное естественное средство сильно отметить размер.

Повторение одних и тех же звуков разделяет фразы на части с определенным числом слогов и заставляет таким образом лучше чувствовать ритм.

К тому же рифма не представляет затруднения для истинных поэтов. Так как они мыслят образами, они располагают большим, чем прозаики, запасом слов и могут легко черпать в нем все свои рифмы.

Что такое образ? Это сравнение. А сравнивать можно все со всем: луну с сыром, и разбитое сердце с треснутым горшком. Потому образы доставляют почти безграничное количество слов и рифм.

Более того, рифма привлекает внимание к образу, как бы звоном колокольчика.

Прибавьте, что каждый поэт имеет свои образы, свои разнообразные эпитеты и, следовательно, огромный запас рифм, которые являются особенностью его творчества.

Корнель рифмует героическими существительными: чело, зло, оскорбленье, мщенье.

Расин рифмует нежными и скорбными прилагательными: страстный, несчастный.

Рифма Ла-Фонтэна насмешлива. Рифма Мольера весела и т. д.

Потому что, действительно, каждый великий поэт открывает свою новую землю. Один — страну героизма, другой — жгучей страсти, тот — насмешки, этот — добродушного веселья.

И образные рифмы как бы цветы этих таинственных берегов. Они растут в изобилии на пути странника. Ему стоит только наклониться, чтобы выбрать те, окраска которых подходит друг к другу.

Букет рифм это благоухание, это краса берегов, к которым приставал каждый мечтатель. Это оттенок его воображения.

И, говоря по правде, у наилучших поэтов воображение и чувство заменяют все, даже ум.

— По мнению Леконт де-Лиля, — сказал кто-то из нас, — Виктор Гюго был глуп, как Гималайские горы.

Франс — «Да, без сомнения. Он был глуп, согласен. Но это был самый трепетный из людей, и, волей-неволей, мы трепещем еще от его содрогания.

Нас, парнасцев, обвиняли в том, что мы хотели развенчать его. Это неверно. Мы питали к нему большое уважение.

Мы даже думали о нем, как о патроне нашей маленькой группы.

Это было в то время, когда мы основывали Парнас.

Мы часто собирались—Коппэ, Леконт де-Лиль, Катюль Мандес и я—в книгоиздательстве Лемерра; вскоре должен был выйти первый номер нашего журнала.

Мы выискивали, что бы могло привлечь внимание вселенной на нашего новорожденного.

Один из нас, не знаю уж, кто именно, посоветовал попросить у Виктора Гюго, находившегося тогда в изгнании на Гернсей, письмо—предисловие.

Эта мысль была встречена с энтузиазмом. И мы тотчас написали славному изгнаннику.

Через несколько дней к нам пришло необычайное послание:

«Молодые люди, я прошлое—вы будущее. Я только лист—вы лес. Я только свеча—вы лучи солнца. Я только бык—вы цари волхвы. Я только ручеек—вы Океан. Я только холмик—вы Альпы. Я только... и т. и т...»

Это продолжалось на четырех длинных страницах и было подписано: Виктор Гюго.

Мы читали вслух это умопомрачительное послание.

На второй строчке мы расхохотались, на четвертой—мы держались за бока, на десятой—падали от конвульсий.

Катюль Мандес воскликнул, что мы были жертвами гнусной мистификации. Этот шутовской ответ не мог исходить от великого человека. Шпионы императорской полиции, несомненно, перехватили нашу просьбу и захотели подшутить над нами. Но мы не дадим себя одурачить.

Мы стали обдумывать, что следовало делать. Результатом этого совещания было письмо, отправленное нами к Жюльетте Друэ, которая жила тогда на Гернсей около своего бога. Мы сообщили ей о нашем неприятном приключении и о нашем нетерпении получить письмо, которое было бы, действительно, от Виктора Гюго.

Через шесть дней мы получили ответ от Жюльетты Друэ.

Бедная женщина была глубоко уязвлена. Первое письмо было в самом деле от Виктора Гюго: его верная подруга удостоверила нам это. Она даже удивлялась нашему сомнению, потому что его гений бросался в глаза на этих четырех страницах.

Однако, мы не напечатали послания блистательного поэта. В нашем благоговении мы боялись, чтобы оно не опозорило его.

Как мы были наивны! Ничто не позорит богов».

Анатоль Франс продолжал:

«Допустим, что он не был умен. Его чувствительность окрасила собою чувствительность всех его современников.

То, что принадлежит ему в особенности — это интимные ощущения, которые никто раньше не анализировал так глубоко: чувства влюбленных, чувство отца над могилой дочери, матери у колыбели ребенка...

Sa pauvre mère, hélas! de son sort ignorante,
Avoir mis tant d'amour sur ce frère roseau,
Et si longtemps veillé son enfance souffrante,
Et passé tant de nuits à l'endormir pleurante,
Toute petite en son berceau! ¹⁾

Вот это принадлежит ему. И настаивая на той ценности, которую каждый из нас придает тайнам своего сердца, он изменил нашу душу. Он способствовал обновлению жизни наших чувств.

О, я знаю, еще многие собирали жатву на том же поле; но он связывал снопы. Он был неутомимым работником.

Когда человек вибрирует с такою силой, ему не надо быть умным. Он производит большее влияние, чем самые искусные резонеры.

И даже, может быть, резонеры только перелагают в хорошо размеренные силлогизмы порывы пророков, которые считаются глупцами».

¹⁾ Бедная мать, о грядущем не зная,
Нежности к хрупкой тростинке полна,
Дочку больную тихонько качая,
Песнею слезы ее осушая,
Много ночей проводила без сна.

— Мне очень приятно слышать, что вы хвалите поразительную оригинальность Виктора Гюго, — сказал критик.

Франс. — «Да, он действительно был оригинальным... Однако, будьте осторожны... Не следует ничего преувеличивать».

И внезапно, после того, как он с таким увлечением прославлял колоссальную индивидуальность Гюго, господин Бержерэ, с обычной для его диалектики гибкостью, перешел на то, чем автор «Легенды веков» был обязан традиции.

— «По правде сказать, то, что лучшие поэты, то, что величайшие писатели выносят из своего путешествия в область фантазии, очень незначительно в сравнении с сокровищами, собранными до них.

Виктор Гюго слывет удивительным новатором. Но вдумайтесь. Он заимствовал у других девяносто девять сотых своей гениальности.

Как ни индивидуальна считается его метрика, она традиционна. Это александрийский стих. Свободная цезура и перенос слов из строки в строку, пускай, но все-таки это александрийский стих.

А его язык? Разве он изобрел его?

Покопаемся поглубже. Алфавит, которым он пользуется...»

Э сколько. — О! если говорить об языке и алфавите...

Франс. — «А почему нет? О них надо говорить.

Что случилось бы с моими мыслями без слов? Что случилось бы со словами без букв, которые позволяют нам легко обозначать их?

Мы недостаточно думаем, дорогие друзья мои, о гениальных смертных, которым пришла мысль изображать звуки знаками. Однако, это они сделали возможной головокружительную умственную гимнастику людей Запада.

А те, кто мало-по-малу выковывали язык? Разве не они сообщили связность нашим суждениям?

Грамматические построения управляют умственными навыками. Так, мы не можем избежать печати людей, говоривших до нас на французском языке, людей создавших и прославивших этот язык. Вместе с их словами, с их синтаксисом, с их ритмом мы унаследовали их мысль и мы едва-едва можем прибавить что-нибудь к ее богатству.

Я ошибался, говоря, что Виктор Гюго был обязан другим девяносто девятью сотыми своей гениальности. Надо было бы сказать девятьсот девяносто девятью тысячными».

В эту минуту вошел капитан Х.

Это—еврей, аскетической внешности, худой, с лицом острым, как нож, с загнутым носом, со впалыми, лихорадочно блестящими глазами; его лицо словно прокопчено от загара.

Проповедник гуманизма, он горит тем же огнем, что и благородные древние набисы, вос-

стававшие против господствовавших учреждений. Подобно им, он постоянно стремится к земле обетованной, где ничто не должно напоминать о проклятом прошлом.

Пожав руку Анатолию Франсу, он сказал: — Вы знаете несколько моих коньков, между прочим, пацифизм и негрофильство. У меня новый конек: эсперанто. Да, я из тех, кто трудится для примирения строителей Вавилонской башни и для водворения между всеми людьми одного общего языка.

Затем капитан для приманки и пропаганды произнес небольшой список.

Эсперанто — наилучший способ сношения для коммерсантов. Через неделю практики, эсперантисты могут вести переписку.

Франс. — Несомненно, господа коммерсанты поступят мудро, изучая этот язык.

Капитан. — Но у него есть более возвышенные цели. Мы перевели ряд образцовых творений всех стран. Ваш Крэнкбилль в их числе. Я пришел просить вашего разрешения для перевода на эсперанто другого вашего произведения.

Франс. — «Не хотелось бы мне разочаровать друга, но я предпочел бы, чтоб он не обращался ко мне с подобною просьбой».

Капитан. — В чем же вы можете упрекнуть эсперанто, дорогой мэтр?

Франс. — Боже мой, ни в чем! Напротив,

я очень одобряю ваше рвение для облегчения коммерческих сношений. Я был бы в восхищении, если б оказалась возможность для всех смертных понимать друг друга, не тратя времени на долгое учение. И я убежден, что всеобщий язык уничтожил бы между ними жестокие недоразумения.

Но, увы! Может ли ваш эсперанто, который, без сомнения, в состоянии оказать столь великие практические услуги, может ли он передать мимолетные оттенки мысли?»

Капитан. — Уверяю вас, что...

Франс. — «О, нет! Потому что он не был рожден страданием или радостью. Он не был стоном или песней человеческих душ. Это механизм, построенный ученым. Это не жизнь.

Послушайте, мой дорогой капитан, предположим, что вам дарят чудную куклу. Ее большие, нежные глаза осенены длинными, божественно загнутыми ресницами. Ее розовый рот напоминает разрезанную вишню. Ее волосы словно солнечные лучи. Она улыбается вам. Она говорит с вами. Она зовет вас: «Мой милый!»

Будете ли вы любить ее?

Предположим, вы долго находитесь с нею вдвоем на необитаемом острове, и вдруг является настоящая женщина, даже довольно некрасивая, но, всетаки, живая женщина. Обратитесь ли вы с вашими мадригалами к кукле?

Ваш эсперанто—кукла.

Французский язык — живая женщина.
И эта женщина так прекрасна, так горда, так скромна, так смела, так трогательна, так сладострастна, так чиста, так благородна, так естественна, так задорно весела, так скромна, что вы любите ее всею душою и никогда не испытываете желания изменить ей».

Раздались взрывы нашего смеха, а капитан немножко нахохлился.

Бруссон шутливо сказал ему:

— Пигмалион вдохнул жизнь в свою статую. Может быть, ваша страсть произведет такое же чудо с вашей куклой.

— Молодой человек, — с некоторой досадой сказал капитан, — вы кипучи, спору нет, но нельзя ли влить немного воды в ваше шампанское?

— А вы, капитан, не прибавите ли немного шампанского в свою воду?

Анатоль Франс прервал этот обмен колкостями:

— «Мой дорогой капитан, я предлагаю вам произвести опыт».

Капитан. — Какой вам угодно.

Франс. — «Вот два стиха Расина. Предупреждаю вас, что я выбираю самые благозвучные. Это божественная музыка.

*Ariane, ma soeur, de quelle amour blessée,
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée* ¹⁾.

¹⁾ Ариадна, сестра моя, раненая какой любовью, ты умерла на берегу, где тебя покинули!

Ну-ка, переведите нам это на эсперанто!»

Словно бросаясь в атаку, во главе отряда, с обнаженной шашкой, капитан лихо выкрикнул несколько слов на языке, который он так страстно восхвалял.

— «Ну, ну, — мягко сказал Франс, похлопывая его по плечу. — Это дело решенное.

Повторяю еще раз, каким образом создание самого ученого филолога могло бы соперничать с живым языком, в который миллионы и миллионы людей внесли свои вздохи и вопли, в котором слышится в одно и то же время мощное уханье народа и щебетанье хорошеньких птичек в светских салонах; грохот всех станков и гром всех мятежей, крик отчаяния и шопот грёз.

Как прекрасны слова, от долгого употребления окруженные ореолом воспоминаний.

Одно — отчетливо звенело в стихе Корнеля. Другое — звучало томным вздохом в полустиии Расина. А это — впитало в себя запах тмина и мяты в басне Лафонтена. И все они переливаются бесконечными оттенками, приобретенными на протяжении веков.

Подумайте только, мой милый друг. Слова смеяться и плакать имеют иной смысл во французском языке, нежели в других, потому что нигде ни один человек не смеялся подобно Мольеру, Реньяру и Бомарше; ни одна женщина не плакала подобно великим французским любовницам, как m-lle де-Леспинас, например.

И вот, мне хочется, чтобы мои мысли опирались на эти слова, в которых трепещут чувства всех наших умерших».

Капитан.—Но тогда вы осуждаете все переводы.

Франс.—«Совсем нет. Вы забываете о басне про куклу. Другие живые языки — настоящие женщины. И мне совсем не противно доверить им мои мысли.

Однако, сильнее люблю я милую мою, о-э! Сильнее люблю я милую мою. Я предпочитаю мой дорогой французский язык.

И получив его таким ясным, таким блестящим, таким ласковым и высоко человеческим, я счастлив, я безмерно счастлив, если мне удалось сообщить ему несколько новых оттенков».

ГОСПОДИН БЕРЖЕРЭ СОТРУДНИЧАЕТ С ВЕЛИКОЮ САРОЮ

Господин Бержерэ любит и не любит театр. Он любит его потому, что дом комедиантов возбуждает его любопытство.

Артисты забавляют его своим павлиньим умом и тщеславием.

Актрисы прельщают его своим изяществом, своими манерами принцесс, своим великолепным ничтожеством или лукавым остроумием и свитой тайных любовников, фатов, откупщиков, политических плясунов, которые увиваются вокруг них.

Он не любит театр... потому что не любит его. Сценическое искусство кажется несколько грубым этому тонкому логику, этому мечтателю, витающему в облаках.

Он очень мало писал для сцены.

Когда он сочинял «Коринфскую свадьбу», он, конечно, не думал, что она когда-нибудь увидит сцену.

Однако, это случилось. Сначала, перед войной, в Одеоне, потом в 1918 году в доме Мольера. И, быть может, публика еще помнит, что в ночь первого представления во Французской Комедии готы бросали на Париж свои снаряды смерти. Сирены, пушки и бомбы создавали героический аккомпанимент мелодичным стихам. Этот анахронизм в античном сюжете не только не повредил успеху, но, напротив, способствовал ему. Почтенный г. Сильвэн объявил о продолжении спектакля. И зрители, восхищенные собственным мужеством, неистово аплодировали актерам и автору, который присутствовал на спектакле, вопреки своему презрению к подобной торжественной суете.

Анатолю Франсу принадлежит еще веселая пьеска под заглавием: «Фарс о человеке, который женился на немой».

Это переделка хорошенького фавлю, о котором говорится в третьей книге «Пантагрюэля».

Он напечатал ее в «Illustration», но не хотел, чтоб ее представляли где-нибудь, кроме общества раблезианцев. По дружбе к Люсьену Гитри он извлек, однако, из «Кренкбиля» превосходную пьеску, в которой с триумфом выступал великий артист.

Впрочем, искусные предприниматели часто выставляли на афишах славное имя Анатоля Франса.

В «Водевиле» долго цвела при свете свечей «Красная Лилия».

В театре Антуана представляли «Преступление Сильвестра Боннара». По обыкновению, там был превосходен Жемье.

Опять-таки Жемье поставит скоро на сцене «Боги жаждут». Пылающие революционные эстампы замелькают в звуках «Ça ira» и Карманьолы.

Иногда музыканты настраивали свои инструменты по фантазии господина Бержерэ.

Массенэ благоговейно преподнес свои восьмые и арпеджии куртизанке Таис.

А недавно в комической опере «Королева Педок» добрый аббат Жером Куаньяр неожиданно удивил нас приятными трелями и искусными руладами.

Когда ему говорят о либретто «Таис», господин Бержерэ лукаво улыбается.

— «Галлэ,—говорит он,—сообщил мне, что не может сохранить у моего героя имя Рархипсе, потому что ему трудно было подобрать к нему в рифму благородные слова. Правда, он находил «р исе» и «р е р исе»¹⁾. Но это его не удовлетворяло.

Потому он выбрал другое имя, Athanaël. Оно рифмуется со словами «ciel, autel, irréel, miel»²⁾, звучными словами, принятыми в обществе.

¹⁾ Блоха, член (*прим. пер.*).

²⁾ Небо, алтарь, воображаемый, мед (*прим. пер.*).

— Пусть будет Афанаил, — сказал я ему.
Господин Бержерэ добавляет:

— «Между нами, я предпочитаю Пафнутия».

Однажды на вилле Саид между нами находилась одна из цариц рампы, госпожа М.

И, естественно, разговор шел о драматическом искусстве.

Один молодой поэт сказал, что кончает свою пьесу.

Франс. — «Поздравляю вас, мой друг, что вы работаете для актеров.

Так как они бессмысленно завывают, за некоторыми исключениями, вроде нашей дорогой М... которая, подобно самим музам, божественно читает стихи, так как ничего не слышно из того, что они произносят, вы можете свободно отдаться порывам вдохновения».

Молодой поэт. — Я не вполне понимаю, мэтр, какое преимущество извлеку я из их бормотанья?

Франс. — «Какое преимущество? Неблагодарный!.. Подумайте только, что вам не придется бояться шокировать публику, которая не уловит ни единого предательского слова из вашего текста. Вы не будете принуждены делать каких-либо уступок ее вкусу. Вам можно будет все говорить. У вас будет полная свобода самым оригинальным слогом выражать самые новые и

смелые мысли. Разве это не высшее блаженство для писателя?»

Молодой поэт поморщился.

Франс продолжал:

— «В театре, надо признаться, все оттенки пропадают. Только громкие, хотя бы пустые слова имеют некоторые шансы долететь до ушей публики.

Корнель это хорошо знал. Его краткие, как бы высеченные из камня реплики являются образцами сценического слога. Но я не так хвалю его за то, что он нашел свои возвышенно благородные слова, вызывающие шумный восторг, как за то, что он употреблял их с некоторой сдержанностью.

Потому что, в конце концов, в подобного рода упражнениях самое трудное остановиться».

Франс продолжал:

— «Язык театра, не язык книг.

Хуже ли он? Я не знаю. Послушайте! Часто говорят, что Мольер пишет плохо. Дело в том, что он пишет не для чтения, а для сцены, т. е. чтобы одерживать победу над невниманием зрителей, над их усталостью и над плохой декламацией посредственных актеров.

Часто повторяет он три и четыре раза одно и то же, чтобы быть уверенным, что его поняли.

На шесть или восемь стихов приходится иногда только два, идущие в счет. Остальные—

лишь мурлыканье, позволяющее слушателю отдохнуть, чтобы через минуту сосредоточиться на важных словах.

Послушаем, как говорит Альцест:

Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située,
Qui veuille d'une estime ainsi prostituée ¹⁾

Смысл полон и достаточно богат, чтобы заставить призадуматься.

Вот продолжение:

Et la plus glorieuse a des régals peu chers
Dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers ²⁾.

Это чистая галиматья,... но это театр».

Госпожа М... — Как вы суровы к нашему бедному театру!

Франс. — «Нисколько! Дайте мне высказаться.

Несомненно, два последних стиха отвратительны. Что значит: les régals peu chers de la plus glorieuse estime?

Что значит: Dès q'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers?

Эти нагромождения «que» ужасны. Смысл, если только распознавать его, совершенно тот же, что и в двух предыдущих стихах.

¹⁾ Поверьте, никогда такое уваженье
В порядочной душе не встретит одобренья.

²⁾ Приправа пышных слов покажется плохой,
Когда ее дают, мешая нас с толдой.

Тогда задаешь себе вопрос: к чему такое многословие?

И вот, оно полезно как раз потому, что оно бесполезно; т. е. потому, что эти бессмысленные невоспринимаемые слова дают зрителям время подумать о двух предыдущих очень хороших строках.

Однако, в этом чудесном двустийии пурист мог бы заметить погрешность, выражение «un peu bien».

Но, что за важность. Это выражение также не слышно. Доносятся до слуха слова, которые выделяются ритмом, находясь перед цезурой или в конце строки: âme, bien située, estime, prostituée.

Эти ноты звучат так отчетливо, что мы принуждены их услышать, и они удовлетворяют мысль.

По инстинкту гения, Мольер всегда подобным образом выковывал свои лучшие стихи.

Например, Дорина говорит Тартюфу:

Et je vous verrais nu, du haut jusques en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas. ¹⁾

Заметьте ударение на словах nu, jusques en bas, peau и tenterait pas.

Зато Мольер часто всовывал в промежутки слабые слова, исключительно для соблюдения размера.

¹⁾ Ходили б вы нагим от головы до ног,
Всей вашей кожи вид меня б прельстить не мог.

Я предпочитаю его прозу, которая не менее содержательна и не принуждает его к этим пустым вставкам.

Но быть может, я не прав, потому что в зрительном зале стихотворный размер, достигнутый даже ценою некоторых недостатков, кидает слова с большею силой».

Кто то изумился, что Франс безошибочно на память приводит цитаты.

— «Это потому,—заявил мэтр шутливо,—что я был очень плохим учеником. Списывание в наказание отрывков из классиков закрепило в моей памяти много стихов».

Через минуту:

— «Это неоспоримо. Мольер заставляет нас слушать его, и заставляет нас смеяться, так как глупо говорить, что он печален.

Романтики навязали ему свой сплин. Они сделали из него мрачного красавца, Манфреда, Лару, Обермана. Они его исказили.

Он хотел быть веселым и действительно был таким.

Даже его Альсест весел; несомненно, он весел. Он в высшей степени забавен; только мы плохо понимаем его теперь.

Мой друг, издатель Пеллетан, попросил у меня однажды предисловие к «Мизантропу».

Я обещал.

Он не раз напоминал мне о моем обязательстве:

— Мое предисловие! — умолял он, когда я приходил к нему в лавку.

Выведенный из терпения, как-то я ответил, что решил не писать его.

Тогда я увидел его в отчаянии, близком к самоубийству, и поправился:

— Я напишу не предисловие, а диалог.

Дело в том, что я только-что прочел слово «диалог» в его витрине, на обложке перевода Лукиана.

Он подскочил до потолка от радости, его глаза засверкали.

— Диалог, превосходно! Заглавный лист в три краски. Имена действующих лиц жирным шрифтом, текст курсивом. Чудо искусства, это будет чудо искусства!

Он хотел сказать: чудо типографского искусства; так как он уверен, что весь талант писателей создается типографией.

Итак, я вообразил себе разговор Альсеста с критиком.

— Вы печальны, Альсест?—говорит комментатор.

— О нет,—отвечает он,—я шучу.

И он поясняет, что ему не более двадцати трех, двадцати пяти лет. Он влюблен. Он хочет жениться. А в XVII веке дворяне женились не позднее двадцатипятилетнего возраста. За этим пределом шло уже нарушение установленного обычая.

В сорок лет человек считался старым холостяком, и пожелать зажечь в этом возрасте факел Гименея значило рискнуть оказаться в смешном положении.

Арнольфусу сорок лет; его считают безрассудным за намерение жениться на Агнесе.

У Мольера старик в сорок лет обречен на ношение рогов. Это так же обязательно, как пирожное в праздник.

Итак, Альсест — желторотый птенец, и забавно, что этот неопытный юноша, который должен бы всецело отдаваться своей беззаботной молодости, читает каждому нравоучительные наставления.

Контраст между его белокурым париком и мрачным видом составляет основу комедии.

Притом, заметьте это хорошенько, если он брющжит, то только тогда, когда бывает задет лично, когда он слушает сонет, который Оронте предназначает для Селимены, когда ему грозит проигрыш процесса, когда соперники в его присутствии ухаживают за его красавицей.

Мизантропия — лишь вид эгоизма; таково глубокое и забавное нравоучение пьесы.

Но современные актеры извращают эту роль, приписывая Альсесту сорока или пятидесятилетний возраст.

Вместо комичного брющжащего юнца, они преподносят нам старого ворчуна, который совершенно не вызывает смеха.

Вот каким образом мелкая ошибка делает

весь шедевр непонятным и придает Мольеру вид Гераклита.

Обыкновенно также супружеские рога у Мольера изображаются черными красками, которые омрачают все его творчество. Он трагический рогоносец.

Но почему ношение им рогов было бы печальным, когда все супружеские злоключения, которые он выводит на сцену, вызывают веселость?

Несомненно, иногда он прославлял чувственное вожделение с почти болезненной суровостью.

Вспомните объяснение в любви Тартюфа. Какой священный трепет.

Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature,
Sans admirer en vous l'auteur de la Nature ¹⁾.

Это уже Бодлер.

Но Бодлер изнемогает от терзаний, тогда как Мольер смеется над терзаниями Тартюфа».

После этой небольшой прогулки в саду Мольера вернулись к актерам.

Франс.—«Они жертвуют всем ради страстного желания быть на виду, и их искусство чаще всего лишь пускание пыли в глаза».

Госпожа М.—Гм!.. Гм!..

¹⁾ И вашей красотой любясь совершенной,
Я прославляю в ней Создателя вселенной.

Франс.—«Простите, дорогой друг; но речь идет не о вас, не о звездах первой величины.

... Если только на афише его имя напечатано крупным шрифтом, а на сцене на него направлен луч прожектора, артисту дела нет до пьесы. И, конечно, он прав. Потому что публика приходит аплодировать ему, а не автору.

Поэтому, какая самоуверенность! Сарду как раз на этом и ловил своих истолкователей. Хитрец! Я видел, как он действовал на закрытых репетициях.

Чтобы уязвить премьеров и держать их в повиновении, он иногда делал вид, что забывал их имена.

Случалось, он говорил самому известному артисту:

— Эй, вы, как вас там зовут!.. Ну, кто играет Наполеона... вы никуда не годитесь!

А плохенькому актеру, двадцать пятого сорта в роли флейтиста или барабанщика:

— Хорошо, очень хорошо, господин Эварист Дюпон. Я в восхищении.

И это прославление имени статиста задевало за живое корифеев сцены и делало их шелковыми в его руках».

Заговорили о вольном обращении театральных звезд с текстом.

Франс.—«Опять-таки, что за важность, если их не слышно! Им достаточно делать вид, что они что-то говорят.

Разве меня не уверяли, что одна знаменитая трагическая артистка пересыпала свою роль замечаниями к машинистам.

Своим серебристым голосом она декламировала:

— О боги, почему не в чаще я лесной!

И вдруг тем же чистейшим металлическим тембром:

— Потухли наверху три лампочки опять.

— Электротехника придется штрафовать.

Затем без малейшего перерыва:

Позволит ли судьба следить мне жадным оком
За бегом колесниц в ристалище широком.

Публика ничего не замечает, а электротехник зажигает свои лампочки».

Анекдот развеселил нас.

Франс.—«Мне рассказывали, что однажды статисты последовали этому высокому примеру и также начали говорить на сцене.

Это было во время представления «Орленка».

На пышном балу в императорском дворце в Вене приказчики центрального рынка, разукрашенные позументами, аксельбантами, стекляшками и золотым шитьем изображали маркизов, эрцгерцогов и князей.

К несчастью, так как им несколько не хватало придворных манер, иллюзия была не полна.

Поэтому великая трагическая артистка в антракте без стеснения жестоко выругала их:

— Вы ходили, как свиньи,—кричала она им,—как свиньи, как свиньи!

Следующая картина представляет поле Ватграмской битвы.

Наши приказчики, снявшие свои прекрасные парадные платья, олицетворяли теперь мертвецов и умирающих, которыми была усеяна равнина. Им было предписано испускать стоны, и этот похоронный концерт должен был возноситься к небесам.

И вот, едва поднялся занавес, они начали испускать свои стенания:

Сперва послышался неясный гул. Но вскоре стали выделяться звучные окончания: или... иньи...иньи...иньи...

Под конец умирающие уже в один голос жалобно и ритмично повторяли все одну фразу:

— Мы ходили... как свиньи... как свиньи... как свиньи...

Трагическая артистка, которая слушала за кулисой, испугалась, как бы так сильно скандированная фраза не перелетела через рампу:

— Занавес! Занавес!—решиительно приказала она.

Затем говорили о гениальности Сары Бернар. Франс.—«Она часто бывала возвышенно прекрасна. Не искажая Расина, она была совер-

шенно новой Федрой. У великих писателей каждое поколение восхищается дотоле неведомыми красотоми. Сара была нашей Федрой.

Знаете ли, что когда-то я сотрудничал с нею?

Да, да. Это было давно. Она пригласила меня прийти к ней побеседовать о сценарии, который она придумала.

В студии, где она меня приняла, Морис Бернар, еще ребенок, шалил с большим датским догом.

Божественная трагическая артистка говорила. Морис, который видел, как блестел глаз собаки, протягивал свою рученку, чтобы схватить этот блестящий предмет. Естественно, славное животное находило эту игру не совсем приятной. Оно отворачивалось и добродушно легким ударом лапы опрокидывало Мориса на ковер. Морис кричал. Его мать прерывала свою речь, чтобы поднять и утешить его.

Затем, чтобы быть уверенной, что ее поняли, она вновь начинала свой рассказ.

Морис опять старался схватить зрачок собаки, та снова опрокидывала Мориса на пол. Сара Бернар опять вытирала слезы своему отпрыску и снова возвращалась к своему изложению.

Морис падал четыре раза, и столько же раз его мать рассказывала начало сценария.

Через несколько дней она должна была уехать в Америку.

— Прощай, наше прекрасное сотрудничество,—сказал я ей.

— Совсем нет,—ответила она,—мы будем продолжать нашу пьесу посредством корреспонденции.

— Письмами?—спросил я.

— Телеграммами.

— Но вы переезжаете через океан.

— Телеграммы заменятся каблограммами, вот и все.

— Но вы будете путешествовать по Америке,—возразил я.—Меня уверяли, что вы намерены ехать далеко на Запад.

— Вы хорошо осведомлены. Это не мешает нам продолжать нашу совместную работу. Из глуши Дальнего Запада я буду отправлять к вам краснокожих, которые верхом на неоседланных диких лошадях с быстротою ветра доведут до ближайшего города текст моих каблограмм...

— Но...—протестовал я.

— Вы беспокоитесь о пустяках,—воскликнула она, смеясь.

Я распрощался с нею.

Несмотря на наши благие намерения, наши сношения не установились так просто, как она предполагала. Наше сотрудничество прекратилось.

Я очень сожалел об этом. Я подозреваю, что эти проклятые краснокожие затеряли послания Сары Бернар».

— Мэтр,—сказала госпожа М.,—вы очаро-

вательны, но ваша ирония, конечно, отвлечет от театра этого молодого автора, который поверил вам свои надежды.

Франс.—«Я этого нисколько не желаю. И даже, чтобы доказать ему мою симпатию, я дам ему драгоценный совет.

Мой юный друг, если вы хотите, чтобы ваше произведение шло на сцене, подыщите для вашей главной роли очень плохую актрису».

Молодой писатель. — Как!.. но позвольте...

Франс.—«Конечно. Все затруднение для автора заключается в том, чтобы найти очень плохую известную актрису.

Поймите меня. Чтобы искупить отсутствие таланта, она должна быть очень красива. Если она очень красива, небо посылает ей великолепных покровителей. Если она имеет великолепных покровителей, она может играть во всех пьесах, которые ей понравятся.

— Итак, ищите очень плохую актрису».

Говоря это, господин Бержерэ перелистывал только-что полученную им книгу.

Это была «Пизанелла» Габриеле д'Аннунцио.

Его глаза упали на посвящение, которое он прочитал вслух:

«Анатолю Франсу, которому все лики Истины и Заблуждения улыбаются одинаково. Габриеле д'Аннунцио».

— «Это удар кошачьей лапки, — сказал

Франс, — но, надо признаться, очень красиво
пансенный.

Раз он меня царапает, вот, в виде мести с
моей стороны, анекдот, вчера мне рассказанный.

Когда репетировали «Пизанеллу» в Шатлэ,
один репортер явился интервьюировать автора,
который благосклонно подчинился допросу.

Случайно репортер заметил на пальце поэта
античную камею.

— Какой восхитительный камень! — восклик-
нул он.

— Он вам нравится? — сказал Габриеле д'Ан-
нунцио. — Он ваш.

И тотчас сняв это кольцо, он сам царственно
надел его на палец посетителю, который тщетно
отказывался от такого щедрого подарка.

Наш репортер намеревался сохранить на па-
мять о великом писателе эту редкую драгоцен-
ность.

Но ему не терпелось узнать ее стоимость.

Он зашел к первому хорошему ювелиру и
показал ему камею.

Тот даже не потрудился вооружиться своей
лупой.

— Это, — сказал он презрительно, — это кусок
стекла. Он стоит не больше четырех су.

Отсюда я заключаю, что Габриеле д'Аннун-
цио превосходный драматический писатель».

Госпожа М. — Мэтр, это понятно. Театр —
это царство обманчивой и часто грубой внеш-

ности. В нем все разочарование для изысканных умов.

Но разве жизнь так уж отличается от театра?

Мое ремесло сталкивало меня с самыми высокопоставленными людьми на земле. Мне надо рассказать вам о моих встречах с ними.

В Берлине, после того, как я играла в присутствии кайзера, я была ему представлена.

Вам известно, что он знаток в стратегии, в живописи, в политике, в архитектуре, в дипломатии, в музыке, в богословии, в танцах, в шитье и в поваренном искусстве.

Он также знаток во французской литературе.

— Ах, — воскликнул он, — я очень люблю Францию. (Он, без сомнения, любит ее, как волк любит ягненка). Ах, я в особенности обожаю вашу литературу. Я обожаю ее, обожаю. Вы располагаете теперь великим гением. Я читаю много его произведений. Я обожаю его. Я обожаю его. У нас в Германии нет равного ему.

— О ком изволит говорить ваше величество?

— О Жорже Онэ! Ах, Жорж Онэ! Никогда не было написано ничего более колоссального, чем «*Maître de Forges*».

Вы видите, что кайзер знаток во французской литературе.

В конце концов, этот монарх, который приводит в трепет мир, закручивая свои усы, совершенный невежда.

Госпожа М. продолжала:

— В императорском театре в Петербурге я была проведена в ложу царя.

Он желал, сказали мне, поздравить меня с успехом. В то мгновение, когда меня вводили к нему, он, не знаю почему, почувствовал себя дурно. Перед ним держали металлический таз. Однако, он принял меня, повернул ко мне мутные глаза, и Природа, которая не бывает более милостивой к могущественным государям, чем к нищим, заставила эту жалкую марионетку исполнить очень не изящную пантомиму.

Прошу вас поверить, что я ушла, не дожидаясь его комплиментов.

Вот в каком виде предстали предо мной на вершине своего величия самые могущественные государи в мире.

Издали—это нечто, а вблизи—ничто.

Ну, скажите мне после этого, что театр более обманчив, нежели действительность.

Господин Бержерэ, улыбаясь, взял руку госпожи М. и поцеловал ее.

— «Спасибо за урок, дорогой друг. Я был не прав, плохо отзываясь о театре. Он гораздо менее обманчив, чем я предполагал, и, конечно, он походит на жизнь, если жизнь так походит на театр».

АНАТОЛЬ ФРАНС У РОДЭНА ИЛИ ЗАВТРАК В МЕДОНЕ

Анатоль Франс однажды посетил Огюста Родэна в Медоне.

Его повезла туда госпожа де-Н.

Это знатная полька среднего возраста, маленькая, улыбающаяся, кругленькая, бегло, но с сильным акцентом, тараторящая по-французски.

Она обожает гениев. Она любит их платонически, но страстно. Она становится их покорной служанкой. Она одновременно отдала свою душу Родэну и господину Бержерэ.

Ее видели на всех приемах виллы Саид. Она приносила розы нашему хозяину и, склоняясь, почти становясь на колени перед ним, осыпала его руки жадными поцелуями.

Она также осыпала поцелуями руки Родэна, когда навещала его на улице Университета, на улице Варенн или в Медоне.

Это обожание великих людей встречается чаще, чем думают, и иногда им очень трудно

предохранить себя от него. Их осаждают любовными письмами.

Некоторые женщины открыто падают ниц перед славой, как мужчины перед красотой.

Итак, в сопровождении госпожи де-Н. Франс отправился в загородную мастерскую знаменитого скульптора.

Когда господин Бержерэ гуляет, он надевает серую невысокую фетровую шляпу, которая благодаря своим широким полям походит на лепешку. Его пальто висит мешком на его худощавой фигуре. Высокий, старенький и слегка сгорбленный, он похож на добродушного буржуа, отправляющегося к себе на дачу.

Он никогда не носит своего ордена.

Как, вероятно, известно—он кавалер ордена Почетного Легиона.

Это немного для его славы; но он сам неоднократно настойчиво заявлял, что презирает знаки отличия.

Он перестал носить розетку со времени дела Дрейфуса, в виде протеста, когда исключили из ордена Эмиля Золя.

Иногда среди друзей ему случается говорить о пристрастии его соотечественников к почетным эмблемам.

— «Откуда у них эта мания? — спрашивает он. — Да, я знаю, человек с орденом может носить мягкие шляпы, не подвергаясь оскорбительному презрению консьержей. Это что-нибудь да

значит. Ему также не надо слишком тщательно следить за исправностью своего костюма; люди не замечают более пятен на его пиджаке. Одним словом, орденская ленточка заменяет бензин.

Этот знак отличия может также быть полезным в случае захвата на месте преступления против общественной нравственности. Как полицейскому арестовать господина, петлица которого украшена красной розеткой?

Но, не правда ли? это предположение совершенно неосновательно. Потому что, в конце концов, никогда человек, носящий орден, не поступает против чести.

Тогда я не понимаю, почему французы так страстно мечтают об орденах.

Или они более тщеславны, чем другие смертные?

Нет, я не думаю этого. Человек всюду одинаков; только проявление его тщеславия различно у разных народов.

Гордость итальянцев проявляется в звучных титулах: *cavalier*, *commendatore*.

Гордость немцев—в ослиных шкурах: «господин Доктор», «господин Профессор».

Гордость янки в цифре состояния: «этот стоит столько-то, а тот стоит вдвое больше».

В конце концов, наша склонность к розеткам, орденским звездам и лентам, быть может, самая безобидная и наименее несносная».

Родэн, наверно, был очень польщен, принимая у себя господина Бержерэ.

Однако, эти два авгура не питают друг к другу безусловного восхищения.

Анатоль Франс в разговорах со своими близкими имеет обыкновение свободно выражаться о вдохновении знаменитого артиста.

— «Это гений. Я уверен, что это гений.

Я видел созданные им, дышащие жизнью, нагие фигуры. Но он не принадлежит к тем великим декораторам, каких знала Франция, в особенности в XVII и в XVIII веках.

Мне кажется, ему неизвестно искусство ансамбля.

И, главное, надо признаться, он слишком много сотрудничает с катастрофой».

Господин Бержерэ поясняет, что он подразумевает под этими несколько сибиллическими словами.

— «Он злоупотребляет правом ломать то, что не удалось в произведении.

Добрый президент Фалльер, который однажды официально посетил Салон, остановился перед статуей, у которой не было ни головы, ни рук, ни ног и сказал простодушно:

— Несомненно, господин Родэн великий человек; но его перевозчики очень неловки».

После этого, господин Бержерэ открывает ларчик анекдотов. — «Знаете ли вы, — спрашивает он, — как был задуман тот полулежащий

Виктор Гюго, который красуется в мраморе в саду Палэ Рояль?

Вот его история:

Родэн только что закончил из глины величественную статую поэта. Виктор Гюго стоял во весь рост на вершине утеса. Под ним кружились всевозможные Музы и Океаниды.

Однажды утром скульптор повел в свою мастерскую караван журналистов, которые хотели созерцать новое творение.

К несчастью, накануне он оставил открытой форточку. И так как ночью разразилась ужасная гроза, ливень превратил огромную группу в бесформенную массу. Утес обрушился на пляшущих богинь. А Виктор Гюго? Виктор Гюго погрузился в океан грязи.

Родэн толкнул дверь, пропустил вперед своих гостей и вдруг заметил несчастье. Он едва не вырвал себе бороду от отчаяния.

Но уже вздымался хор похвал:

— Неслыханно! Чудесно! Мощно! Это озеро грязи, из которой выступает Виктор Гюго, какой символ. Мэтр, это гениальное произведение!.. Вы хотели изобразить гнусность эпохи, когда одно лишь вдохновение великого барда оставалось чистым и благородным. Как это прекрасно!

— Вы находите?—робко спросил Родэн.

— Еще бы! Это превосходнейшее из превосходных творений искусства. Ах! Мэтр, только не прикасайтесь к нему более!

«Этот рассказ, несомненно, пикантен. Se non e vero...»

— «В своих рисунках,—продолжает господин Бержерэ,—Родэн изображает исключительно женщин, которые показывают свою... И его однообразная смелость несколько утомительна.

Как-то в доме наших друзей, где я встречался с ним, он поведал мне, что с восхищением писал серию акварелей с прелестной модели.

— Эта молодая женщина,—сказал он мне,—настоящая Психея... Но, вот, вы, ученый, не можете ли вы мне сказать, кто такая была Психея?

Так как я всегда стремлюсь доставить людям удовольствие, то постарался дать ему ответ, которого он ожидал.

— Психея,—сказал я ему,—была хорошенькая женщина, которая охотно показывала свою...

— Честное слово,—воскликнул Родэн,—я именно так представляю ее себе! И вы делаете меня очень счастливым.

Но я не могу осуждать его эротизма,—добавляет господин Бержерэ,—так как прекрасно знаю, что чувственность на три четверти составляет гений великих художников.

Я менее охотно прощаю ему его слишком развязную привычку присваивать себе чужой труд.

Мне рассказывали недавно, что какой-то фотограф отправился в Медон, чтобы сделать снимки с работ мэтра.

За отсутствием Родэна он был принят его учеником.

Он увидел огромную глыбу чуть обделанного мрамора, откуда выступало лишь одно, изящно высеченное колено. Он пришел в восторг:

— Чудесно! — вскричал он. — Скажите мне, пожалуйста, название этого шедевра.

— Это «Мысль», — ответил ученик.

Восхищенный фотограф уже наставлял свой аппарат, когда ему сказали:

— Это не Родэна, но Дэпио, его сотрудника.

Фотограф повернулся к другой массивной глыбе, откуда выступала нагая спина.

— Великолепно, — сказал он. — Как это называется?

— Еще «Мысль». Но это тоже не Родэна. Это Дэбуа, его сотрудника.

Разочарованный фотограф заметил третью глыбу, из которой высывалась нога.

— Превосходно, — заявил он. — Что это изображает?

— Опять-таки «Мысль». Впрочем, это достаточно ясно. Но это не Родэна. Это Бурделля, его сотрудника.

Тогда пришедший в отчаяние фотограф

взвалил себе на спину свой аппарат и убежал, сломя голову».

С своей стороны, Родэн иногда произносил по адресу господина Бержерэ речи, лишенные снисходительности.

Несомненно, он очень хвалил ум Анатоля Франса и изящество его стиля. Но он мало ценил изменчивые оттенки его мысли, которую считал поверхностной и слишком неустойчивой.

— Соус у него есть,—заявлял он просто,—а кролика нет.

Надо сказать, что кролик считался у него лакомством. Это было воспоминание о том времени, когда, будучи учеником, он посещал плохенькие кабачки. Кролик казался ему кушаньем богов. Очевидно, многого не хватало Анатолю Франсу, если у него не было кролика.

Поэтому Родэн решительно не хотел лепить бюст господина Бержерэ.

Он получил заказ на него от доброго Дюжарден-Бомеца, министра искусств. Но он никогда не принимался за эту работу. Может быть, необычайная подвижность подобного лица лишала его энергии?

Родэн показал господину Бержерэ вещи, над которыми он работал, и свою коллекцию антиков. Затем прошли в столовую.

Роза, старая подруга скульптора, хотела убе-

жать. Она чувствовала себя неловко в присутствии знаменитого посетителя. Родэн схватил ее за руку.

— Сядь здесь, Роза,—сказал он ей повелительно.

— Но, господин Родэн...

— Я говорю тебе, чтобы ты здесь села.

Роза имела обыкновение называть своего друга «господин Родэн», чтобы выразить ему почтение.

Она пробормотала еще:

— Как смешны мужчины! Они воображают, что можно сразу быть за столом и у плиты.

Но она села с нами есть суп.

Во время обеда она много раз вставала, убирала со стола и мелкими шажками отправлялась в кухню за новыми блюдами. Затем, она вновь быстро садилась.

Родэн не переносил другой служанки около себя.

Роза была самым кротким созданием.

Жизнь этой робкой, скромной, никому неизвестной, запуганной женщины в тени деспотического колосса, окруженного ореолом славы, заслуживает того, чтобы быть рассказанной новым Бальзаком.

Она была когда-то ослепительно прекрасна.

Родэн в своей мастерской показывал иногда превосходный бюст Беллоны с гневным взором. И обращался к Розе:

— Это ты позировала для этой Беллоны; помнишь?

— Да, господин Родэн,—отвечала она дрожащим голосом.

Контраст был поразителен между этой добродушной старушкой и ужасной богиней в каске, которая была вылеплена когда-то по ее подобию.

Она боготворила своего великого человека. Она делила с ним суровые испытания изменчивой судьбы. Он часто мучил ее, так как был самым своенравным и непостоянным из смертных.

Она видела, как входили в ее дом прекрасные дамы, ее счастливые соперницы, присутствие которых она должна была переносить без единого слова досады.

Малейшее внимание, которое он оказывал ей, преисполняло ее радости.

В своем саду, в Медоне, она страстно разводила цветы. Мы видели, как однажды он сорвал цветок и подал ей:

— Возьми его себе, Роза.

Подарок ничего не стоил ему.

— О, благодарю вас, господин Родэн,—ответила она, утопая в небесном блаженстве.

Да будет нам позволено несколькими штрихами карандаша закончить этот трогательный силуэт и напомнить, каковы были последние минуты ее скромной жизни.

Когда здоровье Розы пошатнулось, Родэн

женился на ней. И перед нею как бы открылся рай.

Но болезнь сжигала ее. Ее поместили в плетеном кресле на крыльце, чтобы солнце согрело ее. Глаза ее ввалились и слишком ярко блестели, скулы покраснели. Она беспрестанно кашляла.

Родэн внезапно почувствовал, что он теряет. Он сам был очень стар. Он сел около нее в такое же кресло и смотрел на нее молча. Он клал свою большую лапу фавна на худую и бескровную руку бедной женщины, чтобы силой удерживать ее.

Она скончалась, и через короткое время гигант последовал за нею в могилу.

Столовая, в которой мы находились, имела идиллически весенний вид. Окна выходили на синеющие Медонские холмы и на долину Сены, которая лениво струилась под серебристым небом.

Роза подала нам большое блюдо кролика, и Родэн сам выловил из него кусочки свиного сала и в знак особого внимания положил их на тарелку Анатолю Франсу.

Собираясь разбавить свое вино водой, скульптор протянул руку к кубическому графину, хрустальная пробка которого была украшена неле-

пыми цветными спиралями, как те стеклянные шарики, что составляют предмет восхищения детей:

— Роза, я уже говорил тебе, что не хочу более видеть на своем столе...

Роза поспешно схватила ненавистный предмет и бегом унесла его. Она тотчас вернулась с другим графином и сказала нам:

— Господин Родэн швырнул бы на пол тот, который ему так не нравится.

— Мы утопаем в безобразии — проворчал скульптор. — Все вещи, которыми мы ежедневно пользуемся, оскорбляют вкус. Наши стаканы, наши тарелки, наши стулья отвратительны. Их выделывают машинами. А машина убивает дух.

В былое время самые незначительные предметы домашнего обихода были прекрасны, потому что они отражали намерение ремесленника, который их сделал.

Человеческая душа украшала их своими мечтами.

Я читал у Андерсена, восхитительного датского писателя, что при наступлении ночи мебель и другие домашние вещи начинают разговаривать друг с другом.

Подсвечники беседуют с часами, каминные щипцы болтают с корзинкой для дров.

По правде сказать, все реликвии прошлого говорят подобным образом, даже среди белого

дня. Они дружески нашептывают нам сотни трогательных признаний о славных людях, которые их изготовили.

Но наша теперешняя мебель молчит. Что могла бы она сказать? Дерево кресла сообщило бы нам, что оно было распилено гроссами на механической лесопилльне на Севере; кожа, — что она привезена с большого сыромятного завода на Юге; медные части, — что они были отлиты, в тысяче экземпляров, на каком-нибудь заводе на Востоке или на Западе. И если бы все это было высказано сразу, какая какофония!

Печально, видите ли, жить в эпоху, когда маленькие, дружеские боги наших очагов хранят молчание смерти.

Господин Бержерэ согласился, что наше декоративное искусство стоит очень низко.

Родэн. — Если бы только наше декоративное искусство! Но искусство, само искусство, превратилось в ничто. Нет разницы между прикладным искусством и искусством вообще: сделать красивый стол или вылепить женский торс — одно и то же.

Искусство всегда заключается в изображении мечты посредством форм. Теперь не мечтают больше. Не знают больше, что каждая линия, чтобы быть гармоничной, должна передавать человеческую радость или скорбь.

И в том, что называют высоким искусством, в скульптуре, например, так же, как в изгото-

влении обиходных вещей, машина в особенности преследует и убивает мечту.

Эта страстная иеремиада несколько смутила господина Бержерэ, который не имеет обыкновения парить так головокружительно высоко. Он свел разговор на более скромный уровень.

— «Каким образом,—спросил он,—механическая работа может влиять на скульптуру?»

— Каким образом? Но дело в том, что слепок с живого тела заменил талант.

Франс.—«Слепок?»

Родэн.—Да, этот механический способ теперь сплошь и рядом употребляется нашими скульпторами. Они довольствуются тем, что делают слепки, муляжи, с живых моделей.

Публика еще не знает об этом. Но в нашей среде—это секрет Полишинеля. Современные статуи не что иное, как слепки, поставленные на пьедесталы. Скульптору нечего больше делать. Формовщик выполняет всю работу.

Франс.—«Позвольте мне задать один вопрос. Я понимаю то, что вы говорите, когда фигуры памятника как раз натуральной величины. Но как поступают наши художники, когда выполняют фигуры больше или меньше действительного размера?»

Родэн.—Это не представляет затруднения, так как имеются инструменты для увеличения или уменьшения муляжей.

Франс.—«А в былое время, вы говорите,

скульпторы воздерживались делать слепки с живых людей?»

Родэн. — Они пользовались муляжами, только как документами. Во всех мастерских прошлых времен на стенах висели слепки рук, ног, торсов, совершенные по форме.

Художники пользовались ими, чтобы проверять скрепления мышц в своих работах; но они не позволяли себе копировать их и пользовались ими лишь, как материалом, преображая его, оживляя трепетом своего вдохновения. Это итальянец Канова в конце XVIII века начал вставлять в свои статуи слепки отдельных частей; количество работ, которыми он был обременен, принуждало его к этому ускоренному способу.

Ваятели перестали накладывать на свои произведения печать мысли, которая их преображает и озаряет внутренней правдой. Они стали искать только пошлую иллюзию. Не довольствуясь слепками с нагого тела, они фатально, катаясь по наклонной плоскости, начали с точностью воспроизводить настоящую одежду. В костюмах женщин они копировали ленты, кружева, аграманты; в мужском одеянии сюртуки, штаны, манжеты и пристяжные воротники, все согласно последнему крику моды.

Наши улицы и фасады наших национальных зданий сделались таким образом отделениями музея Grévin.

Франс.—«Это слишком справедливо, дорогой мэтр. И этот пошлый реализм современной скульптуры проявляется также в применении бесчисленных аксессуаров повседневной жизни: в мебели, которая кажется только что вышедшей от столяра, в научных приборах, во всевозможных предметах, которые являются балластом для искусства, так как благодаря своей точной сухости не поддаются художественному преобразению.

Можно было бы составить удивительную коллекцию хлама из всех атрибутов, отягощающих наши официальные памятники.

Печь Бернара Палисси стояла бы рядом с колбоя Пеллетье и Каванту, с весами Лавуазье, со столом для вскрытия и с мертвым пуделем Клода Бернара, с креслом Дидро, со стулом Камилла Дамулена, с прессом Ренодо, с больничной койкой доктора Тарнье, с вращающимся станком Жерома, и т. п...

Но рядом с этим свалочным местом надо было бы открыть обширное помещение, чтобы складывать туда предметы исключительной величины, в роде телеграфа Шаппа и Воздушного Шара Осады».

Родэн.— Современные художники забыли, что назначение искусства—выражать человеческую душу, что науку представляют не машины, а мыслящее чело и глаза, в которых светится ум, что смелость изображается не пушками и

аэростатами, а мужественными лицами и сильными торсами

Аксессуар стал их последним прибежищем, потому что они разучились изображать движения духа.

Господин Бержерэ, с всегдашней учтивостью, счел нужным сказать, что наша современная скульптура все же не лишена блеска.

И Родэн, словно эта похвала относилась не к нему, великодушно назвал Далу и похвалил его «Торжествующую Республику», везомую на колеснице львами и сопровождаемую Правосудием и Изобилием.

Франс.—«Некоторые критики не одобряют этой мифологии; но я не разделяю их предубеждения. Так сильно порицаемая аллегория, мне кажется, одна только может передавать общие идеи. Не таково ли и ваше мнение?»

Родэн.—О, да! Надо лишь обновлять старые образы. Так, Марианна Далу, носящая фригийский колпак, воспроизводит условный тип Свободы; но ее исполненный непринужденности жест, ее одновременно серьезное и скромное лицо принадлежит честной работнице наших дней.

Франс.—«То же самое и в области литературы. Обратите внимание на аллегорию Победы. Она чрезвычайно стара и кажется очень избитой.

Но прочитайте прокламацию Наполеона по возвращении его с острова Эльбы.

«Победа пойдет с нами в атаку».

Скажите мне, античная ли это Нике? Нет, это свою собственную победу ведет с барабанным боем Наполеон. *«Пойдет в атаку»*... У ней нет более крыльев, но она яростно шагает по дорогам и полям. Она простолюдинка, покрытая пылью, с растрепанными волосами»...

Затем согласились, что аллегория, подобно всякому художественному или литературному приему, ценна только благодаря гению тех, кто ее употребляет. И случайно было произнесено имя Пюэка.

Франс.—«О! этот наводит на меня безумный страх. Иногда, в силу необходимости, случается мне проходить по Люксембургскому саду. Он весь уставлен угрюмыми памятниками, посвященными писателям, и производит на меня мало утешительное впечатление кладбища Муз.

Но Леконт де-Лиль, которого ласкает большая крылатая женщина из топленого свиного сала, вызывает во мне особенное сожаление. И когда я вижу его, я убегаю при мысли, что, быть может, когда-нибудь под сенью этих деревьев господин Пюэк изобразит *«Дело Дрейфуса»* из жира, крепко целующее мой маргаритовый бюст».

Родэн разразился добродушным хохотом гиганта.

Естественно, что разговор двух великих людей коснулся тех перемен, которые испытывает Париж.

И тот, и другой родились в нем, и господин Бержерэ, выросший в лавке напротив Лувра, на берегу беспечной Сены, нежно любит веселую декорацию приветливых зданий и трепещущей листвы, которая восхищала его в детстве.

— «Кончат тем, что наш Париж сделают уродливым», — сказал он.

Родэн. — Действительно, в нем повсюду разрушают старинные дома, составляющие его благороднейшее украшение.

Современные политические деятели, инженеры, архитекторы и финансисты составляют проклятый заговор против изящества, завещанного нам прошлым. Сильными ударами кирки уничтожают самые блестящие остатки XVII и XVIII века. Разве не разорили недавно восхитительный остров Святого Людовика, где как будто укрывалась отовсюду гонимая мечта?

У Вергилия есть одна драматическая легенда. Чтобы поддержать огонь жертвоприношения, Эней рвет ветки мирта. Вдруг кровь начинает сочиться из сломанных ветвей, и раздастся стон:

— Остановись, несчастный, ты ранишь меня, ты рвешь меня на части!

Это дерево было человеком, превращенным по воле богов.

Миф поэта часто приходит мне на память,

когда я вижу вандалов, заносящих лом на гордые старинные дворцы.

Мне кажется тогда, что кровь сочится из стен, потому что они живы и человечны подобно мирту Вергилия.

Разве стройным ритмом своих памятников не говорят с нами французы былого времени?

Разбивать маскарон XVI века, портик XVII, нежный фриз XVIII века, это значит уродовать лики наших предков, раздирать их красноречивые губы. Какое преступление заглушать их голос!

И пусть бы жилища, которые строятся на месте разрушенных, были прекрасны! Но, в большинстве случаев, они отвратительны.

Франс. — «Они все слишком высоки. Умеренная высота жилищ составляла главную прелесть старого Парижа. Они не скрывали от взора нежное небо Иль-де-Франса. Так как земля стоила не дорого, они развертывались в ширину. В этом заключалась тайна их прелести. Земля стала очень дорога, и нынешние дома растут в вышину, за невозможностью расширяться. В этом причина их безобразия».

Родэн. — Они не имеют ни хороших пропорций, ни стиля, ни деталей. Люди забыли, что архитектура, подобно живописи, скульптуре, поэзии, музыке, является языком души. Вкус умирает. А вкус—это дух народа, выраженный в повседневной жизни, это его характер, про-

являющийся в его костюмах, в семейной обстановке, в садах, в общественных площадях. Наше общество ненавидит дух. Оно убивает мечту.

Он продолжал:

— Разве не говорят о том, чтобы заменить легкий мостик искусства у Лувра огромным железным мостом?

От этого можно зарычать!

Только камень допустим перед дворцом королей.

Эта угрожающая нам груда железного лома, кажется, перекинется через реку совсем около стрелки «Рьяного поклонника женщин» ¹⁾.

Таким образом испортят чудесный пейзаж, образуемый двумя берегами реки, Лувром, Дворцом Мазарини, Монетным Двором, зеленеющей стрелкой острова Ситэ и Новым Мостом, пейзаж величественный, как трагедия Корнеля или картина Пуссэна.

Если этот вид совершенен, то это потому, что из поколения в поколение парижане считали своим долгом украшать его. Подобно тому, как аккорды лиры Амфиона заставляли послушные камни подниматься и складываться в божественные памятники, так скрытая мелодия сгруппировала в безупречной гармонии столько блистательных зданий вокруг Сены, в которой колыхается их отражение.

¹⁾ Прозвище короля Генриха IV (прим. переводчицы).

И вдруг хотят разрушить это великое чудо искусства!

Франс. — «Практическая польза, говорят нам. Но есть ли что-нибудь более полезное для нации, чем очарование города, в котором видимо проявляется его дух — общественный, смелый, строго уравновешенный, ясный и радостный. Вот урок, который, я думаю, в жизни народа и для его будущего драгоценнее всех железных мостов!»

После кофе вышли в сад и подошли к краю обрыва, откуда взор обнимает огромный Париж. До самого отдаленного горизонта простирался океан куполов, башен, колоколен...

Сквозь легкие облака солнце скользило своими золотыми и опаловыми лучами по этим громадным каменным волнам.

Но часто дым заводов, пылевших в долине, набрасывал на эту феерию гигантские полосы черного крепа.

— «Неужели было так трудно удалить от города эти отвратительные фабрики? — сказал Франс. — Не глупо ли позволять, чтобы воздух Парижа постоянно отравлялся дымом заводских труб? Разве это не гнусное святотатство над таким прекрасным городом?»

Родэн. — Наша эпоха, в которой царят деньги, допускает худшее понижение прав на

здоровье, а также на красоту. Она грязнит и наполняет зловонием все. Она убивает мечту!

Франс. — «Но мечта всегда воскресает. И, может быть, она отомстит за себя. Может быть, она вскоре создаст иное общество, не столь низкомерно утилитарное и менее презиращее дух».

Таковы были грустные речи, которыми обменивались эти два пророка на холме Медона.

О ВОЙНЕ

Господин Бержерэ всегда ненавидел войну. Во многих своих книгах, например, в «Красной Лилии», «Ивовом Манекене», он выражал это отвращение иронией, еще более могущественной, чем ярость.

Пока не разразилась буря, ему случалось говорить, что он не верит в нее, потому что грозные вооружения сделали бы ее слишком страшною, и европейские правительства, все с большею или меньшею демократическою окраской, отступили бы перед случайностями войны. Иногда, напротив, как и каждого из нас, его охватывало беспокойство.

— «Надо быть безумным, чтобы предполагать, что нам обеспечен мир, которого ничто не нарушит, — писал он в предисловии к «Жанне д'Арк». — Ужасное, все возрастающее вокруг нас соперничество в области торговли и промышленности заставляет, напротив, предчувствовать будущие столкновения, и ничто не служит нам порукою, что Франция не увидит себя

однажды охваченной обще-европейским или всемирным пожаром».

Трагическое пророчество, которое, увы! не замедлило оправдаться!

Он страшно тосковал в ужасные годы, когда гибель грозила Парижу, который он любит сыновней любовью.

Потом, при случае, он обнаруживал в своих разговорах опасения, которые возбуждали в нем завоевательные стремления союзников, возрождавшиеся по мере того, как их победа становилась менее сомнительной.

Тотчас после перемирия, присутствуя на церемонии в память Жана Жореса, он среди возбужденной толпы сделал один из тех благородных жестов, которые она без труда понимает и всегда восторженно приветствует.

Взяв военный крест с груди раненого, он прикрепил его под бюстом того, кто так пламенно проповедывал братство и положил за него свою жизнь.

Он засвидетельствовал таким образом, что французский народ свято проливал свою кровь за идею мира и впредь будет с твердостью защищать ее против всякого воинственного неистовства.

С тех пор он не пропускал случая провозгласить новую анафему против войны и призывать в своих пожеланиях социальный строй, при котором она будет изгнана навеки.

Разговор, который приводится далее, происходил на вилле Саид за несколько лет до ужасной катастрофы.

У нас возникали недоразумения с нашими беспокойными соседями на Востоке по поводу Марокко. Вдали уже начинала греметь гроза.

В этот день господин Бержерэ заговорил сначала о газетах с того берега Ламанша, которые чересчур шумно становились на нашу сторону против немцев.

— «Англия тревожит меня,—произнес он.— Она до-нельзя воинственна.

Конечно, она храбра. И, может быть, она не боится войны для себя самой. Но я полагаю, что она еще меньше боится ее для Франции. (Присутствующие засмеялись).

О, эта острота не моя. Во всяком случае, это лишь вариант шутовской угрозы, которую когда-то произнес некий Бермудес де-Кастро по адресу Бодлера».

Франса попросили рассказать историю Бермудеса, и он не заставил себя упрашивать.

— «Это был,—сказал он,—благородный испанец. На родине его преследовали за перевод «Тайн Парижа». Тамошние клерикалы были так подозрительны, что ребяческий Эжен Сю казался им исчадием ада.

Итак, переводчик был изгнан во Францию, где литературное общество радушно встретило его. Теофиль Готье, Бодлер, Флобер приняли

его в свой кружок, потому что его оригинальность забавляла их. В качестве идадьго он был безумно горд и... поразительно грязен. Чтобы узнать меню его последнего обеда, достаточно было взглянуть на его окладистую черную бороду. При этом он был фат, больший чем Нарцисс.

Однажды, когда он обедал со своими друзьями, он нашел у себя под салфеткой восхитительно надушенное письмо. Оно было подсунуто Бодлером.

Бермудес понюхал конверт и, предположив приятное любовное приключение, незаметно опустил письмо в карман. Потом, как только встали из-за стола, он удалился в угол прочесть его. И засверкали молнии в его глазах, затрепетали ноздри, заколыхалась грудь от вздохов надежды. Бодлер и другие исподтишка наблюдали за ним и наслаждались его переживаниями.

Красотка писала приблизительно следующее:

«Благородный испанец, вы большого роста, я стройна, вы брюнет, я блондинка, вы сильные, я прекрасна. Я люблю вас. Будьте сегодня в полночь на площади Святого Сульпиция, у фонтана».

В полночь мистификаторы, которые сделали вид, что разошлись по своим домам, спрятались недалеко от назначенного места. Дело было зимой, холод стоял собачий. Идадьго уже находился там.

С самым залихватским видом опираясь рукой

в бедро, с усами, готовыми к битве, он ходил вокруг фонтана. Резкий северный ветер подметал пустынную площадь и хлестал по воде, которая, замерзая на мордах каменных львов, свешивалась фантастическими белыми бороздами.

Бермудес ходил вокруг фонтана...

Пробила четверть, потом полчаса. Флегматический и гордый, он все ходил кругом фонтана.

Вдруг из за угла площади раздался громкий взрыв хохота.

— Оэ! Сеньор Дон-Жуан!

Тогда, вне себя от ярости, Бермудес зарычал:

— А! я узнаю этот голос! Это Бодлерр.

Он ужасно раскатывал р-р.

— Я убью его! Я убью его, хотя бы мне пришлось погибнуть самому! Я не слишком дорожу своей шкурой, но еще менее шкурой Бодлера!

Затем он величественно удалился. На другой день он забыл о своих угрозах».

Художественный критик, Шарль Сонье, вынул свою записную книжку и занес в нее этот анекдот.

— Я являюсь членом Исторического Общества шестой городской части, где находится фонтан Висконти,—сказал он.—Малейшие происшествия, совершающиеся на этом небольшом пространстве, чрезвычайно интересуют нас. Самые великие события, происходящие в остальной вселенной, для нас не стоят выеденного яйца. Мне кажется, однако, продолжал он, что

вы рассказали о подобной сцене в «Жокасте и тощей Кошке».

— «Да,—сказал Франс,—именно это приключение Бермудеса я приписал другому лицу».

Находившийся среди нас старец прервал резко эти рассуждения, которые он считал легкомысленными.

— Мы говорили о грядущей войне,—забрюзжал он.—Ну! что же! если она разразится, тем лучше.

Автор этого решительного заявления был неизвестный, теперь уже умерший, поэт. Судя по его речам, всегда дышавшим чрезмерным шовинизмом, его Муза должна была быть очень героична. Но никто никогда не читал его стихов.

Он был так изувечен подагрой, что не мог надеть ботинок. Он волочил на ногах туфли, укрепленные широкими белыми бинтами. В таком виде совершал он свои визиты.

Он кашлял до слез и невнятно бормотал...

Он часто приходил к Анатолю Франсу, которого знал давно. Мэтр, терпеливо сносивший его присутствие, говорил, когда его не было:

— «Некоторые старые друзья могли бы заставить меня сомневаться в дружбе, этом благодетии небес. Они величаются тем, что очень привязаны к вам, и они действительно привязаны, как слизняки к подводной части корабля. Вы знаете, они часто бывают ядовитыми».

Никто не подхватил вызывающей фразы по-дагрического барда. Но он, похлопывая своими слабыми руками по креслу, заговорил снова между двумя припадками удушья:

— Слава богу, мы остались воинственным народом. Апчхи! Мы любим войну. Апчхи! Мы ничего так не желаем, как воевать. Апчхи! Мы пойдем отнимать наши стенные часы, которые пруссаки стянули в 1870 году. Апчхи! Апчхи!

Франс, смотревший на него минуту молча, сказал мягко:

— «Я восхищаюсь таким прекрасным энтузиазмом старого воина. И я уверен, если отечество будет в опасности, храбрая молодежь, не колеблясь, прольет за него свою кровь. Но совсем не верно, что французы любят войну.

Никогда народ не любил войны. Никогда народ не желал воевать.

В конце концов, толпа всегда без радости смотрит на сражения.

Что в особенности извратило идеи историков, так это риторика Тита Ливия. Но я не думаю, чтобы этот Падуанец был искренен. Он хорошо знал, что никто не бывает счастлив, подвергаясь смертельной опасности. Но он думал, что надлежало возбудить ослабевавшее мужество римлян, и он стал слагать свои пышно звучащие периоды. Прославленную им доблесть мы обыкновенно приписываем войскам, которые одерживают победы. Мы думаем, что они

заслужили свои успехи своим презрением к опасности и что, напротив, побежденным войскам не доставало мужества. Неосновательные предположения. Чаще всего случай решает судьбу сражений. Что касается до войск, я предполагаю, что все они посредственны и ни одно не идет добровольно навстречу страданиям и смерти.

Лирически прославляли наши революционные войска. По поводу них мне случайно удалось отыскать очень поучительную статью некоего Розьера: «Революция в Мелане». У меня нет более этого сочинения. Я кому-то одолжил его, мне его не вернули, это доказывает, насколько оно интересно.

Когда отечество было в опасности, был произведен рекрутский набор в Мелане, как и повсюду во Франции. Это было сделано с большою торжественностью. Мэр созвал население в церкви. Забили в барабаны, молодые люди поклялись победить или умереть, они запели «Песню Выступления» и отправились в армию...

Но через неделю большая часть их вновь очутилась в окрестных деревнях и в самом Мелане.

Когда обстоятельства опять сделались очень критическими, мэр решил, что надо обратиться с новым воззванием к вверенному ему населению. Он опять созвал его. Были набраны те же рекруты... и вернулись домой после нескольких дней отсутствия.

Эта церемония повторилась несколько раз без перемены действующих лиц.

В конце концов, один гражданин Мелана остался в армии, только один. Уверяют, что он сделался генералом; он это вполне заслужил.

Я представляю себе, что не иначе обстояло дело и с многочисленными вербовками на Новом Мосту. Потому что, в конце концов, вы должны понять, что когда приносят себя в жертву Франции на Новом Мосту, это делается, главным образом, для того, чтобы вас видели. Раз вы себя показали, этого достаточно. Ваше дело сделано».

Старый поэт (беспрестанно отхаркиваясь).— Ну, ну, мой дорогой Франс... я не понимаю вашей иронии. Военная доблесть... апчхи! к к счастью, нередко, апчхи! и вы согласитесь со мною, что... апчхи! апчхи!..

Франс.—«Несомненно, я соглашусь с вами, что существуют герои, хотя они не всегда бывают ими. Истинный герой признается, что иногда он трусил. Я соглашусь с вами, что некоторые полки, в известные минуты возбуждения, отважно пренебрегали страшными опасностями. Но из всего, что нам известно, мы должны вывести заключение, что большинство солдат, которые составляют войско, крепко дорожат своей жизнью и не подвергали бы ее опасности, если б не были к тому принуждены.

Вот почему упомянутая мной книжка, кото-

рая, конечно, не указывает на настроение всех французов во время Революции, показалась мне, однако, достойной доверия. И мой собственный опыт подтверждает это».

Старый поэт.—Ваш... оп... апчхи... оп... пыт!..

Франс.—«Да, послушайте, я вам точнейшим образом передам несколько моих впечатлений в бытность мою солдатом национальной гвардии во время осады Парижа.

Командиром нашего батальона был толстый бакалейный торговец нашего квартала. Он, надо сказать, не пользовался авторитетом, потому что старался делать поблажку своим покупателям.

Однажды мы получили приказ участвовать в вылазке. Нас посылали на берега Марны. Наш командир был великолепен в своем сияющем, еще не ношенном мундире. Он ехал верхом на прелестной арабской лошадке, которую раздобыл себе, не знаю уж где, и которой он, очевидно, очень гордился; на совсем белой лошадке, восхитительно грациозной и бойкой. Слишком бойкой, что и погубило бедного бакалейного торговца. В то время, как он заставлял гарцовать свою лошадку, она во весь рост встала на дыбы, опрокинулась на спину и сразу убила нашего командира, переломив ему спинной хребет.

Мы не очень жалели нашего начальника. Мы решили остановиться, нарушить ряды и разлечься на траве откоса. Мы пролежали там все

утро и весь день. Вдали тремела артиллерия... Мы не имели желания идти к пушкам.

Под вечер, на дороге, тянущейся вдоль берега, увидали мы бегущих моряков. Многие были черны от пороха. На раненых виднелись окровавленные перевязки. Эти несчастные люди лихо сражались, но должны были покориться несчастной судьбе.

Какая мысль пришла нам в голову? Мы начали кричать: «Да здравствует флот!»

Это восклицание, которое матросам показалось ироническим, привело их в ярость. Часть из них бросилась на нас в штыки. Это показалось нам опасным. Мы поспешно покинули покрытый травой откос и бросились на утек. Так как мы хорошо отдохнули, а преследователи изнемогали от усталости, мы без труда могли убежать от них.

Мы вернулись в Париж. Но наше долгое бездействие тяготило нас, и нам сильно хотелось есть. Поэтому, мы не испытали никаких угрызений совести, разграбив булочную, которую встретили по пути. К счастью, владельцы ее имели время скрыться. И мы не сделали убийцами.

Таково было наше поведение. Я им не хвастаюсь, о, нет! я им не хвастаюсь! Но мне дорога истина, и я свидетельствую о ней».

Старый поэт.— Несомненно, это исключительные факты, ахчи!.. и я уверен... что...

Франс.— «Мой милый друг. Мне не хоте-

лось бы колебать вашу веру. Главное, отнюдь не думайте, что я стараюсь унижить моих товарищей по оружию. Наши враги совершенно не отличались от нас. Немногие из них были героями. Многочисленные свидетели видели, как плакали немецкие солдаты, которых посылали в опасные места. И зачем смеяться над этими слезами? Они проливались, без сомнения, при воспоминании о молодых женщинах, которые не увидят более своих мужей, при воспоминании о маленьких детях, которые не обнимут более своих отцов.

Но позвольте мне рассказать вам другой анекдот.

Вскоре после войны семидесятого года, я ходил в Х... Однажды, входя на постоянный двор, я услышал громкие взрывы хохота и увидел местных жителей, стоявших вокруг рослого парня.

Он объяснял им, как ему удалось улизнуть от всех сражений.

— Во-первых, — говорил он, — я уехал из дому с двумя неделями опоздания.

Когда я явился к унтеру, я подумал, что он задаст мне взбучку. Тогда я, не будь дураком, представился идиотом. О чем он меня ни спрашивал, я на все мычал мэ... э... словно корова.

— Вот дурачина! Вот дурачина! — повторял тот; — ничего из него не вытянуть, кроме мэ... да мэ...

Наконец, офицер сказал мне:—Ну, просто-филя, раз ты работал на ферме, ты умеешь обращаться с лошадьми.

Я ответил да, кивнув головой.

— Ну, ты отведешь тогда этих двух кляч к полковнику Бушару, в 28 полк, третьего корпуса армии. Вот тебе пропуск и корм для всех троих, для твоих двух скотин и для тебя.

Я еще раз кивнул головой, и мы отправились.

Но, само собой, я пошел по другой дороге и привел моих лошадок к другому полковнику, в другой полк.

Этот полковник взглянул на мои бумаги и сказал:

— Чорт побери, что за идиот,—и направил меня на настоящую дорогу, дав несколько экю.

Я опять заблудился, вы понимаете!

И я гулял так, от полковника к полковнику, все самое жаркое время. Но лишь только мир был заключен, я отвел прямо своих двух кляч к настоящему полковнику настоящего полка, и делу конец!

И что же! Одобрительный хохот приветствовал циничные признания этого хитреца.

О! я совсем не утверждаю, что эти слушатели оказались бы бесчувственными при рассказе о великом самопожертвовании. Самые грубые люди, восхищаясь хитростью, чтут также и благородство.

Но, в конце концов, галерка не осуждала этого обманщика. У толпы всегда безграничная снисходительность к Панургу, который во время перепалки пачкает белье, или к Сосию, который в палатке, вдали от битвы, наполняет себе брюхо ветчиной и вином.

Поистинѣ, мне кажется совершенно невозможным, чтобы шовинизм, которым по временам заражается наша буржуазия, овладел когда-нибудь народом!

Напротив, я замечаю, что антимилитаризм сделался более смелым, чем когда-либо. В былое время дезертиры и вышедшие из повиновения никак не извиняли своего поведения:

«Нас предали!—кричали они:—нас продали!»

Это было их единственное оправдание.

Теперь они имеют свою теорию и подтвержденные доказательствами основания. Они заменили «Песню Выступления» гимном «Чтобы не выступать». Под звуки музыки отказываться идти. Это становится величественным».

Старый поэт.—Итак, вы их одобряете?

Франс.—«Не заставляйте меня говорить то, что не входит в мои намерения. Нет, я не одобряю их. Потому что при современном состоянии Европы они рискуют помогать худшим врагам цивилизации».

Старый поэт.—Значит, вы признаете, что отечество...

Франс.—«Я признаю, что наше отечество,

если ему будет угрожать опасность, заслуживает, чтобы его беззаветно защищали.

Однако, нужно ясно понимать, в чем состоит его право на нашу любовь.

Отечество, если под этим словом понимать сумму великих идей и глубоких чувств, которые различны в различных странах, и которые составляют французский ум, английский здравый смысл, немецкую диалектику, это, конечно, сокровище, которое должно быть дорого для каждой нации. Это—сияющее знамя, водруженное на каждой территории. Величайшие гении каждой расы вздымали его все выше и выше. И мало-по-малу они сообщили прекрасный инскапательный смысл группировкам, которые вначале были на удачу определены случайными историческими обстоятельствами.

Но эти волнующие нас национальные доктрины хотя и различны, но, во всяком случае, не непримиримы. Выдающиеся мыслители протягивают друг другу руки через границы. Они не имеют ни одинаковых склонностей, ни одинакового мышления. Однако, их сближает их гуманность, их сострадание ко всем своим ближним.

Поэтому только посредством преступного обмана можно враждебно противопоставлять национальные убеждения.

В своем самом чистом проявлении они, наоборот, дополняют друг друга. И можно обожать всюю страну, почитая другие.

Но, к несчастью, родина—не только совокупность лучезарных идей. Она также—социальное основание для финансовых предприятий, из которых многие мало достойны одобрения.

Антагонизм капиталистических appetitов, иногда весьма незаконных, вот что побуждает нации к столкновению и служит причиною современных войн. Нет ничего более печального.

Я желаю от глубины души, чтобы моя родина воздерживалась от всяких захватных стремлений, которые могли бы наложить на нее малейшую ответственность в каком-нибудь конфликте.

Но если бы когда-нибудь она подверглась нападению жадного соседа, долгом всех ее сынов было бы лететь к ней на помощь.

Если бы Франция была унижена, это было бы самой печальной катастрофой для человечества. Потому что, не правда ли, все-таки наша страна символизирует довольно великодушные стремления».

Старый поэт.—Ах! Ах! вы видите... апчхи!.. что шовинизм имеет хорошие стороны.

Франс (с силой).—«Совсем нет! Это преступное безумие. Шовинисты нелепы и отвратительны, когда говорят, что война благородна, что она школа всех добродетелей, что она закаляет и возрождает людей, что провидение дает победу наиболее достойным, и что величие народа измеряется его победами, т. е. боями,

во время которых его дети гибли вместе со своими врагами».

Старый поэт.—Но как внушите вы народу желание жертвовать собою за родину?

Франс.—«Делая родину все лучшей, все более справедливой, более материнской для народа... более честной, более дружественной по отношению к другим нациям... повторяя беспрестанно, что война отвратительна, остерегаясь тщательно всяких запутанных интриг, которые могли бы ее вызвать... свидетельствуя блистательной откровенностью нашего поведения, что мы не желаем браться за оружие и будем употреблять его только для защиты нашей свободы.

Тогда народ будет любить эту родину, которая сольется в его сердце с самым лучшим будущим человечества, и, если случится несчастье, и на нее нападут, он не позволит, чтоб она погибла» ¹⁾

¹⁾ Таковы были в то время мнения Франса. После того, своим присоединением к коммунизму, он засвидетельствовал, что только одна интернациональная организация пролетариата кажется ему способной помешать возобновлению войн.

Прим. ред.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ВИЛЛЕ САИД

Стояло холодное время года. Когда Жозефина открыла дверь, мы увидели, что коридор при входе был загроможден верхним платьем, кашне и меховыми вещами.

Одеяния друзей господина Бержерэ свалены были на стульях и консолях. Шляпы украшали прекрасные подсвечники в стиле рококо. Пальто висели на готических перилах лестницы из старого резного дуба.

— Много посетителей?—спросили мы у Жозефины.

— Слишком много!-- ответила она угрюмо. — Куча русских.

Жозефина не слишком симпатизировала славянской расе.

— Неизвестно, почему принимает барин подобных людей,—продолжала она.—И грязны же они. Блох-то сколько. Посмотрите-ка на эти старые дорожные плащи.

Говоря так, она щупала пальцами чью-то рваную, изношенную накидку.

— Эти русские, — продолжала она ворчать сквозь зубы, — только пачкают весь дом. И, должно быть, они носят с собою бомбы. Если бы барин меня слушал, то стал бы выбирать лучших знакомых. Такой знаменитый, он должен бы знаться только с высшим обществом.

Мы оставили ее в этом настроении.

В библиотеке мы, действительно, увидели около Мэтра нескольких русских революционеров. Среди других там находился К., известный социолог, колосс с седыми кудрями, с пухом вокруг лица, с большими голубыми глазами, как бы нежными и удивленными, улыбающийся с детски блаженным видом: законченный тип ученого анархиста, который с невинной душой разрушает общество до самого основания.

Это было в то время, когда Николаю II пришлось впервые отбиваться от своего пробудившегося народа, уставшего от кнута и нагайки.

С., корреспондент петербургских газет, который начал читать ряд лекций во Франции против царизма, сообщил о речи, которую он произнес накануне в Валансьене.

— Очень симпатичная публика, — говорил он, — кажется, весьма осведомленная в этом вопросе.

Франс. — «В общем, провинция находится теперь на том же уровне умственного развития, что и Париж».

С. — За исключением, однако, некоторых областей, например, Бретани.

Франс. — «Это правда, бретонцы отстали. Отчасти это зависит от их незнания нашего языка. Если б они его понимали, они были бы более других восприимчивы к некоторым из наших социальных идей.

Так, я думаю, они легко восприняли бы коллективизм. Они подготовлены к нему пользованием коммунальными землями, которые у них многочисленны, как во всех бедных странах. Потому что теперь только негодные поля и тощие пастбища могут оставаться общественной собственностью, тогда как малейший клочек плодородной земли сейчас же покупается. К несчастью, у нас нет ораторов, знающих их местное наречие.

Алкоголизм также пагубен для них.

Что верно, так это то, что они показались мне очень отсталыми во время моего последнего пребывания в Кибероне.

Они не применяют ни одного нового способа рыбной ловли. Наудачу выезжают они в море за рыбой. Они и не думают телеграфировать друг другу сведения о движении рыбных стай.

Что касается до продажи, они производят ее самым жалким образом.

Торговка свежей рыбой, толстая богатая баба, подстерегает на берегу нетерпеливо их возвра-

щения. Как только они пристають к берегу, она ведет их в кабак, напивает и уже с пьяными заключает сделку о продаже их улова.

Заметьте, что эта торговка является посредницей, без которой они могли бы отлично обойтись. Потому что часто купец, который отправит рыбу в Париж, ждет также около нее на берегу. Но им не приходится в голову обратиться прямо к нему.

Что утвердило меня в моем неблагоприятном мнении об их уме, так это услышанный мною разговор двух бретонок. Так как женщины обыкновенно развитее мужчин, а эти, по крайней мере, как мне показалось, совсем не были развиты, я вывел отсюда суровые заключения об умственных способностях туземцев.

Но имейте в виду, что, слушая разговор этих двух бретонок, я не совершил никакой нескромности, потому что они находились в полукилометре одна от другой, и на этом расстоянии, крича во все горло, подобно героям Гомера, осыпали друг друга отборною бранью.

Одна из них кричала,—заметьте это хорошенько, сударь,—сказал Франс старому социологу,—она кричала:—«Ты попросту потаскуха, потому что гуляешь с моим мужем».—На что вторая отвечала ей тем же тоном.—«Если твой муж гуляет со мной, так это потому что моя... красивее твоей».

Я не знаю, разделяете ли вы мое мнение,

но это возражение, по моему, указывало на полнейшее отсутствие психологической наблюдательности.

Несомненно, что если мы любим одну женщину, а не другую, то вовсе не потому, что ее... кажется нам красивее, а по множеству причин, очень разнообразных и притом весьма сложных».

Старый социолог старался, но безуспешно, составить свое мнение.

Через минуту Франс сказал:

— «Поп Гапон должен быть доволен: русская Революция приостановилась».

И обращаясь к остальным присутствующим:

— «Наш друг С. познакомил меня с этим попом, о котором столько говорят. Он привел его ко мне сюда. Это плотный и смуглый молодой брюнет. Я робко признаюсь, что он не произвел на меня прекрасного впечатления. Он многогоречив и напыщен. Так как он ни слова не знает по-французски, С. переводил мне его речи и решился сократить их. Гапон это заметил и рассердился не на шутку».

— Он распекает меня, — сказал мне С., — потому что я укоротил его последнюю фразу, где он сравнивал Николая II с тигром. Он, действительно, прибавил: «Это тигр, упивающийся человеческой кровью».

— «По правде сказать, эта ссора по поводу метафоры показалась мне выходкой плохого

вкуса. Потому что, в конце концов, не правда ли, все тигры, королевские или императорские, упиваются человеческой кровью.

Гапон, который руководил в Петербурге первыми выступлениями забастовщиков, полагает, что надо дать народу некоторый отдых раньше, чем требовать от него новых усилий.

Не знаю, прав ли он. Но опасность заключается в том, что перерыв может обратиться в долгую остановку.

Может быть, русские слишком угнетены и слишком несчастны, чтобы страстно желать свободы. Так как это факт. Почти все революции, которые одерживают длительные победы, лишь освящают уже приобретенные результаты.

Посмотрите на революцию 89 года. Центры, уже освобожденные от феодализма, восстали, чтобы требовать уничтожения старого режима.

Что касается до провинций, на которых еще тяготело иго традиций, они так мало думали о том, чтобы сбросить его, что проливали свою кровь против Революции; так было с Вандеей и Бретанью.

То же самое и с социализмом. Он имеет своих самых ревностных сторонников в крупных корпорациях, как, например, в союзе горнорабочих, которые именно благодаря своей дисциплине уже получили добрую часть преимуществ, обещанных социализмом. Тогда как

самыми яркими противниками этой доктрины являются крестьяне, которые более всего страдают при буржуазном режиме.

В конце концов, изменения социального строя совершаются только, когда они вполне назрели.

Вот почему я задаю себе вопрос, не слишком ли еще далеки русские от тех благ, которые доставила бы им Революция, чтобы желать их приобретения».

К. возразил, что его соотечественники более развиты, чем о них думают.

Франс.—«А не является ли препятствием к их освобождению их преданность царю?»

К.—Набожное благоговение России перед своим государем быстро исчезло. Наш народ мистичен, но проникателен. Испытав на себе неверность своего царя, он отрекся от него. Его благочестие остается нетронутым; но оно переступает через одну ступень и обращается непосредственно к богу.

— Он умнее бретонских рыбаков,—заметил кто-то,—он исключает посредника.

К.—К тому же неправильно представлять себе русских слепо преданными своим священникам. Напротив, хотя они и благочестивы, они не слишком любят духовенство. И когда, например, они целуют руку у попа, они полагают, что выражают почтение не духовному лицу, но богу, которого он представляет.

Франс. — «Вы меня ничуть не удивляете. Потому что презрение к священнику вполне совместимо с набожностью. В общем, народ ненавидит рясу. Почему? Просто потому, конечно, что она мрачна и вызывает представление о ханжестве.

Но, скажите мне еще, не является ли русский мистицизм преимущественно созерцательным и враждебным действию. Ваш пророк Толстой, например, разве не проповедует мужикам покорность Провидению и то, что он называет «непротивлением злу?»

К. — Между нами будь сказано, его не слушают. Наши рабочие и крестьяне здоровые молодцы, и раз они проснулись, их трудно вновь усыпить.

Франс. — «Да, я понимаю, ягнята легче становятся волками, чем волки ягнятами. Кстати, в этой истине убедился недавно проживающий в Париже ваш соотечественник, князь Трубецкой. Подобно тому, как Толстой хочет сделать из людей ягнят, этот князь занялся приручением волков. Он раздобыл двух, совсем молодых, вырастил их и водил на привязи, как собак. Чтобы отучить их от их инстинктов, он кормил их преимущественно овощами и, некоторое время, как это ни странно, они, казалось, мирились с этим режимом.

Но как-то раз, один из них вдруг вонзил свои клыки в руку торговца фруктами, у кото-

рого этот князь всегда лично покупал пищу для своих животных, и было очень трудно заставить этого волка выпустить свою добычу.

Скажу притом, что это не притча».

К. (смеясь). — Отсюда можно, однако, вывести социологические заключения.

Франс. — «Если вам угодно».

К. — Лучшее средство, мне кажется, помочь действительно успеху либерализма в нашей стране, это посоветовать другим народам и, в особенности, французам не подписываться ни на один русский заем, пока царское правительство не введет либеральной конституции.

Франс. — «Я желаю от всего сердца, чтобы эта тактика имела успех. Потому что она сохранила бы миллионы жизней. К несчастью, верно, что если бы русское правительство увидело себя поддержанным нашими деньгами, оно не замедлило бы вернуться к самой жестокой реакции».

К. — Оно к ней готовится.

Франс. — «Могло даже случиться, что ему бы удалось надолго подавить все слабые покушения на независимость».

К. — Нет, потому что на реакцию было бы отвечено террористической мезтью. Но нужно облегчить либералам их задачу и, как вы говорите, сохранить человеческие жизни.

Франс. — «Увы, всякий человеческий прогресс слишком много их пожирает».

C'est un ordre des dieux, qui jamais ne se rompt!,
De nous vendre bien cher les bienfaits qu'ils nous font.
L'exil des Tarquins même ensanglanta nos terres
Et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres!» ¹⁾

Молодой человек, брюнет с длинными и на-
помаженными волосами, с монгольским цветом
лица, с выдающимися скулами и опущенными
калмыцкими усами, внезапно прервал молчание,
которое он хранил до того времени. Он говорил
по-французски с чрезвычайным трудом:

— Для успеха Революции было бы гораздо
лучше, чтобы...

Франс.— «Не поражает ли вас мощь нашего
великого Корнеля?»

Молодой славянин.— Да, это удиви-
тельно!..

Франс.— «Было бы гораздо лучше, чтобы...

L'exil des Tarquins même ensanglanta nos terres
Et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres

Это более чем поэзия, это более чем красно-
речие...»

Молодой славянин.— Революция...

Франс.— «Это высечено из камня»!

Молодой славянин (упорно).— Да, да!
Вы напрасно надеетесь, что царская власть отре-
чется... Нет надежды... Лучше было бы перено-

¹⁾ Решение богов—его не избежать—
За все свои дары стоицею с нас брать.
На нивах кровь—цена Тарквиниев изгнания,
Платили мы войной за консулов избранье.

сильные самые ужасные преследования. Лучше было бы много мучеников, много крови, много крови, и потом правительство было бы свергнуто разъяренным народом.

Франс (обращаясь к своим гостям).— «Этот молодой человек—цельная натура, как вы видите. Он, если понадобится, будет бросать бомбы».

Динамитчик начал улыбаться.

Из карманов своего пиджака он вытащил два стальных цилиндра.

И с торжеством произнес:

— Бомба из двух половин. Когда они разъединены, нечего опасаться. Если свинтить обе части, весь этот дом взлетит на воздух.

Франс (учтиво).— «Не свинчивайте, пожалуйста. И поверьте мне, друг мой, пока представляются другие способы, надо прибегать к ним. Помните о том: Правосудие смертоносное, даже осуществляемое освобождающимся народом, всегда Правосудие печальное. Не хорошо утолять кровью жажду богов».

Он продолжал:

— «Дело русских революционеров касается нас ближе, чем это можно себе представить.

Если бы они были побеждены, либерализм потерпел бы кризис во всей Европе. Их победа, напротив, придавала бы большую силу социализму у других наций и в особенности у нас».

Разговор перешел на французскую революционную партию.

Франс.—«Народ в нашей стране, мне кажется, очень расположен к коллективизму.

Но он обладает только инстинктом своей выгоды и остается до ужаса равнодушным к идеям.

Недавно в Бордо мне представился случай порасспросить двух бочаров, которые накануне присутствовали на докладе Жюль Гэда.—«Хорошо он говорил?»—«Конечно!»—«Вы все поняли, что он сказал?»—«Естественно: это было достаточно ясно. Он хочет счастья бочаров!»

Вот все, что они запомнили

Другой анекдот. Несколько дней тому назад я был на Бирже Труда в конторе грозного Пато, секретаря Синдиката Электрорабочих, знаете, Пато, которому достаточно подать знак, чтобы погрузить во мрак весь Париж.

Вокруг него на полу лежали груды брошюр.

— Браво!— сказал я ему,—вы заботитесь о просвещении ваших товарищей. Потому что это, повидимому, идейная литература, которую вы предназначаете для них.

— Это,—ответил он мне,—это экземпляры Шерлока Хольмса. Наши синдикалисты не переносят другого чтения».

И Франс заключил:

— «Если бы нашей партией лучше руководили, если б она не была разбита на тридцать

шесть частей, она организовала бы более усердную и методичную пропаганду, и наши принципы встречали бы более сознательное отношение со стороны народных масс» ¹⁾).

Франс (обращаясь к молодому граверу).— «Взгляните же на эти гравюры Ганса Бургмайера: это по вашей части. Этот вельможа и дама, которые целуются друг с другом, как это

1) Анатоль Франс не перестал сочувствовать русским революционерам.

Однажды Гюстав Эрвэ привел к нему человека, тридцати—тридцати пяти лет, бледного, наголо, словно каторжник, остриженного, с блуждающей улыбкой на исхудалом лице.

Эрвэ представил его:

— Борис Савинков, убийца.

— «Очень рад»,—сказал господин Бержерэ, подавая руку незнакомцу.

— Я попрошу моего друга Эрвэ напечатать мне сотню визитных карточек с титулом, который он мне дает,—сказал Савинков шутя.

— «А кого он убил?»—спросил Франс.

— Министра Плеве и великого князя Сергея,—ответил Эрвэ.

— «Крупная дичь»,—решил господин Бержерэ...

Другой русский, Раппопорт, который стал французом и питает к большевикам глубокую и верную симпатию, поддерживает с Анатолем Франсом горячую дружбу.

Известен замысловатый портрет, который написал с него художник Ван-Донген. Табачный кисет с рыжеватой бородой. По середине этой бороды блестят золотые очки.

Это Диоген или Менипп, очутившийся в современном обществе. Он говорит с сильным акцентом и бросает беспрестанно остроумные и злые словца, которые поражают безразличия социалистов и буржуа.

Во время войны, он много раз ездил в Турень, в Бешеллери, куда удалился Франс.

Он переворачивал вверх дном библиотеку Франса, наби-

трогательно. Видите ли вы большой живот дамы... Это не потому, что она беременна. Мода требовала тогда, чтобы дамы имели большие животы, как она приказывает теперь, чтобы они их не имели.

Какая твердость линий и какая ритмичность композиции!

Надо время от времени наслаждаться тем, что составляет все утешение в жизни».

вал себе карманы почтенными старинными книгами XVI века и наслаждался ими, лежа на животе под ивами на лугу.

После его отъезда, господин Бержерэ просил своего секретаря собирать в высокой траве книги, которые не оказывались на местах.

Однажды нашли драгоценного Ронсара верхом на проволоче, на которой развешивали белье.

Во время одной из бомбардировок Парижа готами с Раппопортом произошло неприятное приключение. По доносу, за вызывающие тревогу речи, которые он будто бы произносил в каком-то погребе и которые, якобы, слышали слишком усердные патриоты, его посадили в тюрьму.

Анатоль Франс не преминул послать ему письмо, которое было прочтено перед судьями и спасло обвиняемого.

Господин Бержерэ писал в нем, что идеи Раппопорта ему известны, что они здравы, и что заключение этого честного человека является скандалом.

Несомненно, что в последнее время именно влияние Раппопорта все более и более склоняло Анатоля Франса к коммунизму.

ВСЕМОГУЩЕСТВО МЕЧТЫ

Готовились к выборам депутата от Парижа. Делегация социалистической партии явилась предложить кандидатуру господину Бержерэ.

Это значило иметь о нем превратное представление.

Он не имеет ничего общего с трибуном. Часто он говорит публично, но поневоле. «Товарищ Анатоль», как его называют иногда в собраниях, не слишком силен в ораторском искусстве.

Пикантный контраст. Это божественный собеседник. У себя дома это чародей слова. То растроганный, то насмешливый, он говорит, как книга, как самая превосходная из книг.

На митинге он с трудом находит свои слова. Он читает свои речи.

Он произносит их монотонным, гнусавым голосом, который не лишен торжественности. Если ему надо импровизировать, он запинается, смущается, и это волнение является самым трогательным выражением почтения к толпе, кото-

рая, гордясь тем, что возбуждает робость в гениальном человеке, неистово приветствует его.

Но в Парламенте его враги, пожалуй, не были бы так снисходительны.

Другой недостаток, который оправдывает его отказ: он никогда не отвечает на письма. Он их даже не распечатывает. Недавно они лежали грудой на подносе, пока их не сожгла старуха Жозефина. Этот обряд составляет одну из постоянных обязанностей верной служанки.

Заметьте еще, что господин Бержерэ забывает о свиданиях, если только он не является на них днем раньше или днем позже.

Избирателям скоро надоел бы такой депутат.

Поистине, трехцветный шарф так же подошел бы этому философу, как кольцо коту...

Он отклонил опасную честь, которую ему предлагали.

Делегаты настаивали: он упорствовал в своем отказе.

— «Ваше предложение льстит мне и трогает меня, — сказал он, — но у меня совсем нет данных для роли представителя народа.

Во всяком случае, не вздумайте обвинять меня, что я презираю политику. Напротив, я восхищаюсь отважными людьми, которые посвящают себя ей и которые, вы хорошо понимаете меня, поддерживают здравые мнения, т. е. наши мнения».

После этого он произнес имя Жана Жореса.

Анатоль Франс питал к нему самую глубокую привязанность. Он любил его за живой ум, за изумительно обширные познания и, в особенности, за величие его характера.

— «Какая благородная совесть! — сказал он. — Он иногда неловок вследствие своей прямоты. Он не боится задевать страсти толпы.

Ему случается возбуждать гнев своих собственных сторонников сопротивлением их крайностям и своей честностью по отношению к противникам.

Он избрал самую неблагоприятную роль. Он старается быть посредником между рабочими и буржуа и избежать насилия.

Это прекрасная задача, но она тяжела ¹⁾.

Иногда во время забастовки, когда войска производят троекратные предупреждения рабочим, которые размахивают камнями мостовой, какой-нибудь героический человек, чтобы помешать избиению, бросается в опасный промежуток, разделяющий две линии. Среди раскатов грозы, он проповедует спокойствие. Он рискует, таким образом, получить одновременно пули Порядка и камни Мятежа.

¹⁾ Не надо забывать, что приведенные здесь взгляды Франса на социализм и его вождей относятся к довоенному времени. С тех пор многое изменилось в его мнениях. (Прим. ред.).

Подобный образ хорошо представляет смелую миссию, которую взял на себя мой друг, и угрозы, которыми он пренебрегает».

Мы вспомнили об этих словах позднее, когда трагически погиб знаменитый оратор, и они показались нам пророческими.

Минуту спустя, Франс похвалил бескорыстие Жюля Гэда.

— «Какую силу,—сказал он,—черпает этот человек в своей бедности!

Он всегда одет очень скромно, но сами его манеры скромны, и они остались бы такими же и при менее поношенном платье.

Его роль, это надо признать, не так трудна, как роль Жореса. Потому что менее трудно упорно отказываться от совместной работы с буржуазным классом, нежели стремиться преобразовать его.

Враждебность, которая царит между этими двумя главарями социализма, наполняет тревогой умы. А глубокие расколы в нашей партии часто принимают за признаки слабости. Но это скорее доказательство жизненности, мне думается».

Это вызвало удивление:

— «Ну, да!—продолжал он.—Подумайте. Никогда между главными нынешними революционерами не возникнут разномыслия, столь резкие, как между первыми христианами, между святыми Петром и Павлом, например.

Конечно, в первом веке были язычники,

более близкие Павлу, чем Петру, между прочим, Сирийцы.

Однако, насколько я знаю, христианство не потерпело крушения. Поистине, оно преуспевало не дурно. И в один и тот же день, вместе, чтутся Петр и Павел. Все заставляет меня думать, что социалисты будущего в один и тот же день будут прославлять Жана Жореса и Жюля Гэда».

Присутствовавшие засмеялись.

Затем господин Бержерэ заговорил о Бриане, который долгое время был его другом.

— «Давно уже,—сказал он,—задумал он тайком покинуть нас.

Он сердился на молодых честолюбцев, которые на конгрессах старались поколебать его престиж.

— «Довольно мне служить цыновкой для вытирания ног».

Не находите ли вы метафору удачной?

Она достаточно хорошо рисует тактику новых пришельцев, которые, чтобы овладеть доверием собравшихся, начинают с того, что вытирают свои ноги об известных ораторов.

Бриан был недоволен, что конгрессы запретили социалистам быть членами буржуазного правительства.

— «Это жаль,—сообщил он мне,—очень жаль! Потому что все-таки между нами найдется четверо или пятеро людей, которые име-

ли бы очень приличный вид в качестве министров».

Я уверен, что между этими четырьмя или пятью, он считал себя за пятерых или шестерых.

Он достиг власти, которой так страстно желал, и ловко пользуется ею, потому что обладает искусством управлять людьми.

Я помню, что в то время, когда он выступал на народных собраниях, он умел замечательно возбуждать публику.

Однажды на митинге он сидел рядом со мной на эстраде.

Зала была холодна, и самая пламенная риторика не согревала ее.

— Подождите, — сказал мне Бриан на ухо, — я сейчас «разгорячу прения».

Он выбирает среди толпы честного простака, который, стоя с вытаращенными глазами и раскрытым ртом, не проронил ни слова.

— Гражданин! — кричит он ему, — почему вы беспрестанно перебиваете?

— Я? — спрашивает тот, ошеломленный.

— Да, вы! вы!.. Знайте, что честный противник нападает на врага открыто! Идите на трибуну!

— На трибуну! На трибуну! — заревело собрание.

— Но я ничего не говорил!

Несчастливого толкали вперед, не смотря на его попытки скрыться.

Затем он был внезапно схвачен полудюжи-

ной бесноватых, которые подняли его на эстраду. Он попал на нее вниз головой. В течение полуминуты я различал две ноги, которые отчаянно болтались в воздухе.

— Вон его! Вон! — рычали кругом.

Две ноги исчезли в вихре.

Лед был сломан. Аудитория, подкрепившая свои силы коротким судом, слушала после того ораторов с назидательным сочувствием.

Господин Бержерэ продолжал:

— «Еще недавно Бриан дал великое доказательство своего изворотливого ума. Это было в день, когда старый кардинал Ришар покинул дом господина Дени Кошена, гостем которого он был, чтобы отправиться в свое новое жилище, на улице Барбэ-де-Жуи.

Бриан, стоявший тогда у власти, боялся манифестаций, которые могли произойти во время проезда архиепископа.

И вот что он придумал:

Он послал к отелю господина Дени Кошена полицейских в штатском платье.

Когда выехала карета прелата, эти агенты закричали во все горло: «Да здравствует архиепископ! Да здравствует архиепископ!» И тотчас, выпрягнувши лошадей, они сами взялись за оглобли, как бы для выражения кардиналу своей фанатической преданности.

Затем, подхватив карету и все время выкрикивая приветствия, помчались во весь дух.

Когда им встречались ревностные молодые католики, которые приветствовали почтенного старца, они сталкивали их и рысью неслись дальше.

Они мигом совершили весь путь, устремились с архиепископом во двор его дома и закрыли за ним ворота.

Так были предупреждены манифестации, которых опасалось правительство.

По этим искусным приемам распознается политическая мудрость.

Это—качество, которое я хвалю в других и которое мне кажется почти чудесным, потому что я чувствую, что полностью лишен его. Вот почему я был бы негодным депутатом...

Да, да, уверяю вас.

И затем, я предпочитаю мое ремесло философа. Мое безумное тщеславие побуждает меня верить, что и оно также до некоторой степени полезно».

Тут господин Бержерэ развил перед нами параллель, которую мы ожидали.

— «Я хорошо знаю, что мечтатель—жалкое лицо рядом с политическим деятелем.

Политический деятель — идол толпы. Он ее властелин и ее раб. Он тащит за собой целую свиту попрошайек. Он влиятелен, знаменит, силен. Он держит в своих руках участь народа. Он ведет его к благоденствию или к гибели. Он издает законы. И это в особенности кажется

доказательством его могущества. Издавать законы, устанавливать правила, которым должно следовать стадо, утверждать пределы, переступать за которые не имеет права ни один гражданин, разве это не почти божественная власть?

Есть только одна маленькая оговорка. Это то, что законы никогда ничего не устанавливают. Закон, когда правящие его формулируют, уже давно вошел в жизнь. Он только санкционирует обычай. Если бы он противоречил ему, он остался бы мертвою буквой.

Итак, над законодателем стоит царящий обычай. Но кем же он устанавливается? Всеми, но, в особенности, мечтателями. Не является ли их миссией думать за общество?

Чтобы размышлять, надо иметь призвание, как и для того, чтобы обрабатывать землю, торговать, плавать по морям, воздвигать жилища. Я не знаю, имеют ли смертные, которые высекают и шлифуют идеи, больше заслуг, чем другие люди. Но, во всяком случае, если они хорошо выполняют свое дело, они заслуживают некоторой благодарности.

Различными способами они улучшают жизнь всех.

В своей лаборатории, в глубине спящего двора, ученый, немощный и полуслепой, заново переделывает мир.

Разве мы не видим, как даже на наших глазах разрастается переворот, совершенный совре-

менной машиной, и в особенности, паровым двигателем? Последствия этого изобретения еще не скоро исчерпаются. Расстояния сокращаются. Наша Европа, уменьшенная чрезвычайной быстротой передвижения, конечно, не превосходит теперь размером Францию времен первой Империи. Весь мир в данное время не является большим, чем была сто лет тому назад наша маленькая Европа.

Сколько неизбежных изменений в истории земного шара предсказывает эта истина!

А разве не ускоряет грядущих метаморфоз чудесное распространение книг, брошюр, газет, которые сеют по всему свету самые смелые мысли?

Мечтатели изменяют существование своих ближних не только изобретениями, но и самыми отвлеченными и, казалось бы, бесполезными идеями.

Коперник доказывает, что земля не неподвижна. Он сталкивает ее с того центрального места, которым она гордилась в своей спеси. Теперь она является лишь жалкой странницей в бесконечном пространстве. Обратите внимание на далекие последствия этого потрясения. Если люди не живут более в неподвижном центре вселенной, если они блуждают на маленькой капле грязи, блуждающей в бесконечности, они уже не цари Вселенной. Они теряют свою богословскую уверенность. Сомнение, критика и все пло-

дотворное беспокойство современной мысли проникают под их черепа.

Бледные, нерешительные и достойные сожаления существа, они с каждым днем все лучше сознают святость терпимости и взаимного сострадания.

Дарвин указывает на закон эволюции. Подумайте о безграничном воздействии, которое он будет производить на умы. Они беспрестанно и все сильнее будут чувствовать глубокую врожденную симпатию, которая сближает все живущее и все страдающее. Они все лучше будут понимать, что все незаметным образом преобразовывается и что напрасно желать остановить ход неизбежных изменений или стараться их ускорить.

Так, большинство великих открытий в конечном итоге воздействует на наше текущее существование.

А разве другие мечтатели, писатели и артисты не обладают таким же могуществом, как и ученые?

Поистине это они, глядя с высоты вперед, управляют народом, потому что они образуют и определяют дух каждой нации.

Как родилось бы духовное единство страны без посредничества поэтов? Как возникла бы из различия рас, из необычайной пестроты провинций, случайно соединенных победами или договорами, одна общая мысль, если бы мыслители

не вырабатывали ее вместе и каждый за себя, для всех своих соотечественников?

Некоторые мечтатели впервые выражают чувства людей, которые их окружают: они высказывают стремления тех, кто страдает и радуется вокруг них. Потом, если их слово ясно, если их родная область мудростью или силой своего закона внушает уважение соседним территориям, эти первые поэтические звуки, как эхо, передаются другим певцам, которые снова берут их и распространяют далее.

Мало по малу на всем протяжении страны устанавливается созвучие, складывается одна симфония, все диссонансы тают в единой гармонии.

И, конечно, много мечтателей, много поэтов, много артистов принимают участие в этом концерте. Но на протяжении веков дирижеры оркестра бывают редки.

Мало бывает Вийонов, Раблэ, Монтеней, Мольеров, Вольтеров...

Воспользуемся другим сравнением: эти великие люди являются строителями, воздвигающими нацию. На призыв их гения являются сотни и тысячи рабочих. Так укрепляется характер государства. Так воздвиглась наша духовная Франция, здание независимости и искренности, иронического вдохновения и мстительной насмешливости, здание разума, общественности, сострадания, здание гуманного братства.

И потому, друзья мои, надо продолжать смело

Эту прекрасную постройку, и не время теперь складывать руки. Надо расширять ее, чтобы поместить в ней всех людей. Это обязанность, которая лежит на мечтателях, великих и малых.

Чтобы увидеть, как воздвигаются стены, как вырисовываются гордые колоннады и обширные фронтоны, самый скромный товарищ радостно взберется по лестнице, принося наполненное цементом ведро более искусным работникам, которые кладут камни на верху постройки. Позвольте же мне, дорогие друзья мои, позвольте мне готовить цемент для города Мечты. Это мое назначение, оно мне нравится, и я не желаю другого».

Перевела с французского

Е. Мечникова

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТРАН.
I. Читателю	7
II. Хижина мудреца	12
III. Академические визиты	26
IV. Символ веры неверующего	53
V. Профессор Браун ищет секрет гениальности	69
VI. Прекрасная кукла и настоящая женщина	109
VII. Господин Бержерэ сотрудничает с великою Сарою	131
VIII. Анатолий Франс у Огюста Родэна или завтрак в Медоне	151
IX. О войне	174
X. Русская Революция на вилле Саид	191
XI. Всемогущество Мечты	205

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Каталог Западно-Европейской и Американской Литературы.
Каталог Литературы Востока.

Принципы художественного перевода (Сборн. статей).

„Литература Востока“, сборники 1-й и 2-й.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------|---|
| Д. Г. БАЙРОН | — „Драмы“. |
| „ | — „Дон-Жуан“, ч. 1-я и 2-я. |
| О. ДЕ-ВАЛЬЗАК | — „Крестьяне“. |
| ЛИЛИ БРАУН | — „Письма маркизы“. |
| Э. ВЕРХАРН | — „Поэмы“. |
| Г. ГЕЙНЕ | — „Путевые картины“, ч. 1-я и 2-я. |
| В. ГЕТЕ | — „Фауст“, ч. 1-я и 2-я. |
| „ | — „Страдания юного Вертера“. |
| И. ГЕРДЕР | — „Сид“. |
| К. ГОЛЬДОНИ | — „Комедии“, т. 1-й и 2-й. |
| БР. ГОНКУР | — „Братья Земгано“. |
| Т. ГОФМАН | — „Музыкальные новеллы“. |
| В. ГЮГО | — „93-й год“. |
| Ч. ДИККЕНС | — „Повесть о двух городах“. |
| Э. ЗОЛА | — „Западня“. |
| БЛАСКО ИБАНЬЕС | — „Проклятый хутор“. |
| „ | — „Власть мертвых“. |
| ИВН-ТУФЕЙЛЬ | — „Роман о Хайе, сыне Якзана“. |
| ЭССА ДЕ-КЕЙРОШ | — „Реликвия“. |
| Ш. ДЕ-КОСТЕР | — „Легенды об Уленшпигеле“, ч. 1-я и 2-я. |
| К. ЛЕМОНЫЕ | — „Завод“. |
| „ | — „Рог Призыва“. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

А. Р. ЛЕСАЖ — „Хромой бес и Тюркар“.

ЛЯО-ЧЖАЙ — „Лисьи чары“.

К. Ф. МЕЙЕР — „Новеллы“.

П. МЕРИМЭ — „Театр Клары Газуль“.

МОНГОЛЬСКИЕ

СКАЗКИ

— „Волшебный мертвец“.

Г. ДЕ-МОПАСАН — „Милый друг“.

— „Сильна, как смерть“.

УСАМА ИБН МУН-

КЫЗ

— „Книга назиданий“.

НОВАЛИС

— „Гейнрих фон Офтердинген“.

Р. РОЛЛАН

— „Театр Революции“.

„

— „Трагедии веры“.

О. УИТМЭН

— „Листья травы“.

Г. УЭЛЛС

— „Война в воздухе“.

Г. ФЛОБЕР

— „Воспитание чувств“.

„

— „Саламбо“.

А. ФРАНС

— „Восстание ангелов“.

„

— „Остров Пингвинов“.

— „Рассказы“.

Б. ШО

— „Пьесы“.

АНТОЛОГИЯ КИТАЙСКИХ ЛИРИКОВ.

Печатается:

Г. КЛЕЙСТ — „Собрание сочин.“, т. I и II.

К. ГОЦЦИ — „Сказки для театра“.

Д. ДЕФО — „Робинсон Крузе“.

Э. ЗОЛА — „Труд“.

СТЕНДАЛЬ — „Пармский монастырь“.

А. ВОЛЬТЕР — „Орлеанская дева“, с фототипиями.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

1. О. МИРБО — „Деревенские рассказы“.
2. МУЛЬТАТУЛИ — „Рассказы“.
3. М. ТВЕН — „Приключения Тома“.
4. Г. Д'АННУНЦИО — „Пескарские рассказы“.
5. А. ШАМИССО — „Чудесная история Петра Шле-
милля“.
6. А. ФРАНС — „Дело уличного торговца“.
7. Г. ГЕЙЕРСТАМ — „Любовь“.
8. БАЛЛАДЫ О РОБИН ГУДЕ
9. Г. ДЕЛЛЕДА — „Сардинские рассказы“.
10. О. УАЙЛЬД — „Счастливый принц“.
11. „ — „Гранатовый дом“.
12. „ — „Кэнтэровильское привидение“.
13. ДЖ. ЛОНДОН — „Сын волка“.
14. Г. УЭЛЛС — „Спящий пробуждается“.
15. В. СКОТТ — „Черный карлик“.
16. А. ВОЛЬТЕР — „Кандид“.
17. „ — „Повести“.
18. П. ВЕРАНЖЕ — „Песни“.
19. С. КОЛЬРИДЖ — „Поэма о старом моряке“.
20. Р. ХАГГАРД — „Копи царя Соломона“.
21. Ф. ШИЛЛЕР — „Разбойники“.
22. ДЖ. ЛОНДОН — „Закон белого человека“.
23. ВОЛЬТЕР — „Белый бык“.
24. ВЛ. ИВАНЬЕС — „Валенсианские рассказы“.
25. И. ИЕНСЕН — „Гиммерландские рассказы“.
26. А. ФРАНС — „Чудо св. Николая“.
27. В. ГЮГО — „Последний день осужденного“.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 28. К. МЕЙЕР | — „Святой“. |
| 29. А. ДОДЭ | — „Письма с моей мельницы“. |
| 31. Л. НОРДСТРЕМ | — „Обыватели“. |
| 32. Г. ДЕ-МОПАСАН | — „В деревне“ и др. рассказы. |
| 33. Г. ФЕДЕРЕР | — „Прометей“. |
| 34. Ю. ЮРГЕНСЕН | — „Африканские рассказы“. |
| 35. А. ВОЛЬТЕР | — „Принцесса Вавилонская“. |
| 36. Г. УЭЛЛС | — „Машина времени“. |
| 38. Г. БАНГ | — „Четыре дьявола“. |
| 39. А. ФРАНС | — „Сказка о сорочке“. |
| 41. Г. УЭЛЛС | — „Невидимка“. |
| 42. Ш. ДЕ-КОСТЕР | — „Тиль Уленшпигель“. |
| 43. ДЖ. ЛОНДОН | — „Путь морозных солнц“. |
| 44. Ж. МИШЛЕ | — „Кордельеры и Дантон“. |
| 45. | — „Жанна д'Арк“. |
| 46. Г. ГЕЙЕРМАНС | — „Город брильянтов“. |
| 47. М. ТВЭН | — „Принц и нищий“. |
| 48. ДЖ. ЛОНДОН | — „Любовь к жизни“. |
| 49. ДЖ. БАРРИ | — „Белая птичка“. |
| 50. Р. САУТИ | — „Баллады“. |
| 52. А. ИРКУЛАНО | — „Исторические повести“. |
| 53. ИЕНСЕН | — „Ледник“. |
| 54. МУДРОСТЬ ХИКАРА | |
| 57. Ф. ШИЛЛЕР | — „Вильгельм Телль“. |
| 58. ДИККЕНС | — „Колокола“. |
| 59. Л. СТЕРН | — „Сентиментальное путешествие“. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- П. ВЕНУА — „Атлантида“, роман.
С. БРЖОЗОВСКИЙ — „Зарево“, роман из эпохи народных
довольств.
Г. ВЕРФЕЛЬ — „Человек из зеркала“, пьеса.
К. ГАМСУН — „Соки земли“, роман.
Г. ГАУПТМАН — „Зимняя баллада“, пьеса.
П. ГЗЕЛЛЬ — „Беседы А. Франса“.
О. ГЕНРИ — „Рассказы“.
Г. ГОЛЬСТ — „Лирические драмы“.
П. ЛАГЕРЛЕВ — „Гномы и люди“, рассказы.
Р. МАРАН — „Батуала“, африканский роман.
К. МЕЙРИНК — „Голем“, роман.
Ж. РОМЭН — „Донгоо-Тонка“, кинематогра-
фический роман.
Р. РОЛЛАН — „Кола Бреньон“, роман.
„ — „Пьер и Люс“, роман.
Э. СИНКЛЕР — „Сто процентов“, роман.
А. ФРАНС — „Жизнь в цвету“, роман.
Г. УЭЛЛС — „Неугасимый огонь“, роман.
К. ЭДШМИДТ — „Шесть притоков“, новеллы.

Печатается:

- Г. Д'АННУНЦИО — „Ноктюрн“.
О. ГЕНРИ — „Короли и капуста“, роман.
М. МАРКС — „Женщина“, роман.
М. МАТЕРЛИНК — „Белая невеста“, пьеса.
Р. РОЛЛАН — „Клерамбо“, роман.
СИНГ — „Герой“, пьеса.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ — „Сборник статей“, с иллюстрац.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

К. ЭДШМИДТ

— „Тимур“.

Ф. БРЕМЕР

— „Туманность Андромеды“.

Вышли в свет издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУ-
РОЙ“ журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

книга 1-я и 2-я.

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова
и К. И. Чуковского.

Печатается № 3-й

„ВОСТОК“

книга 1-я.

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, акаде-
мика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Але-
ксеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Ти-
хонова.

Печатается № 2-й.

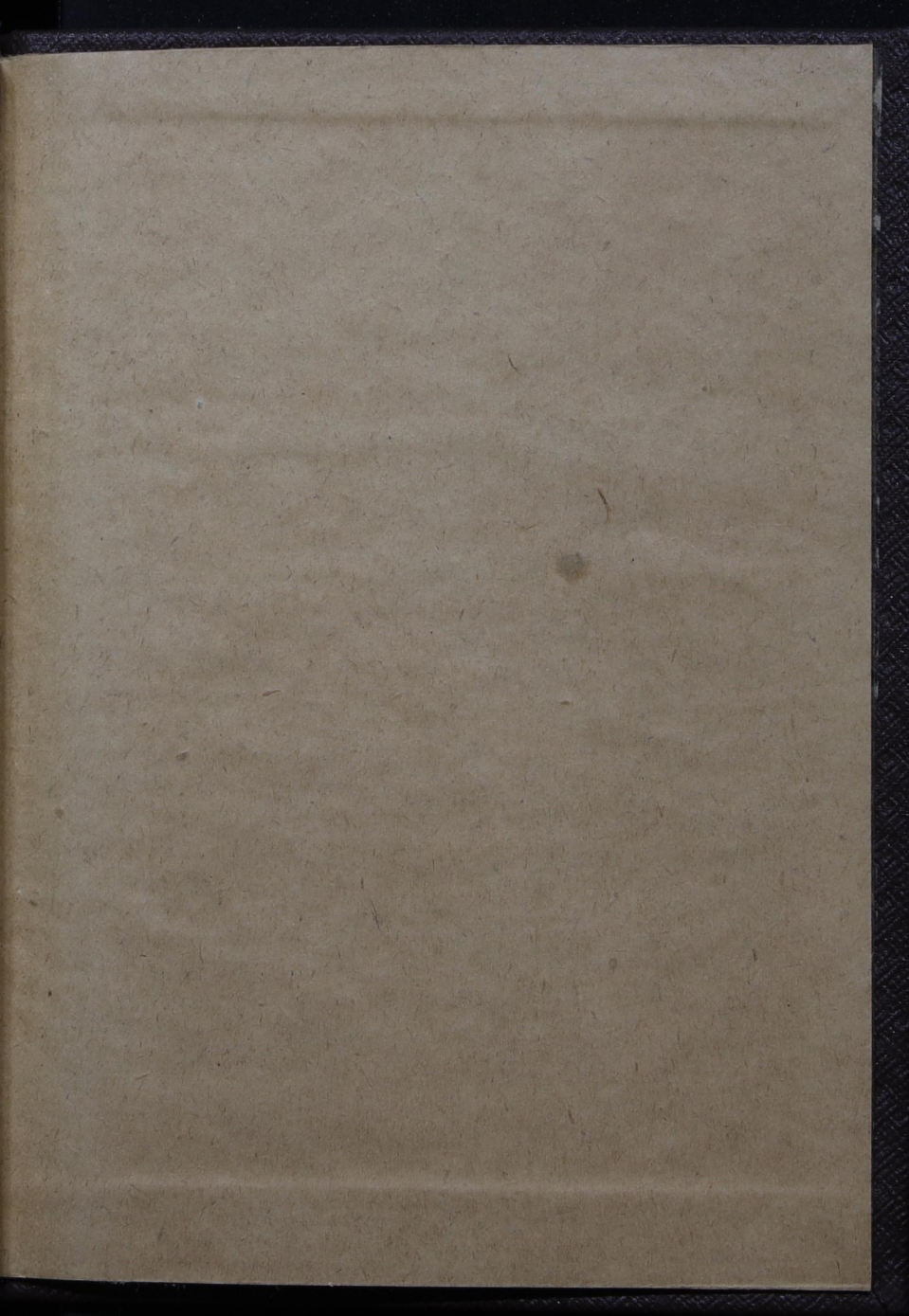
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

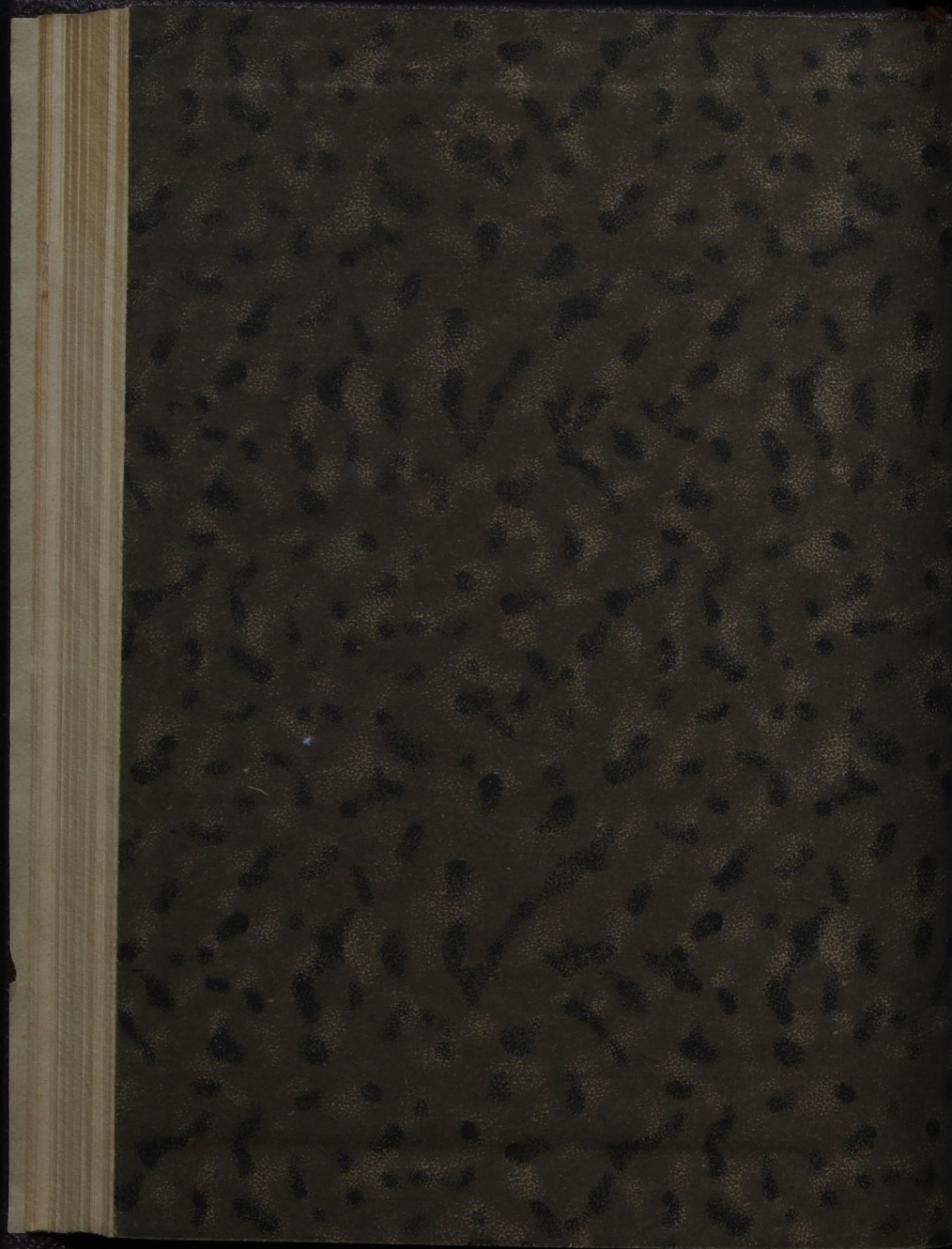
В ТОРГОВОМ СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

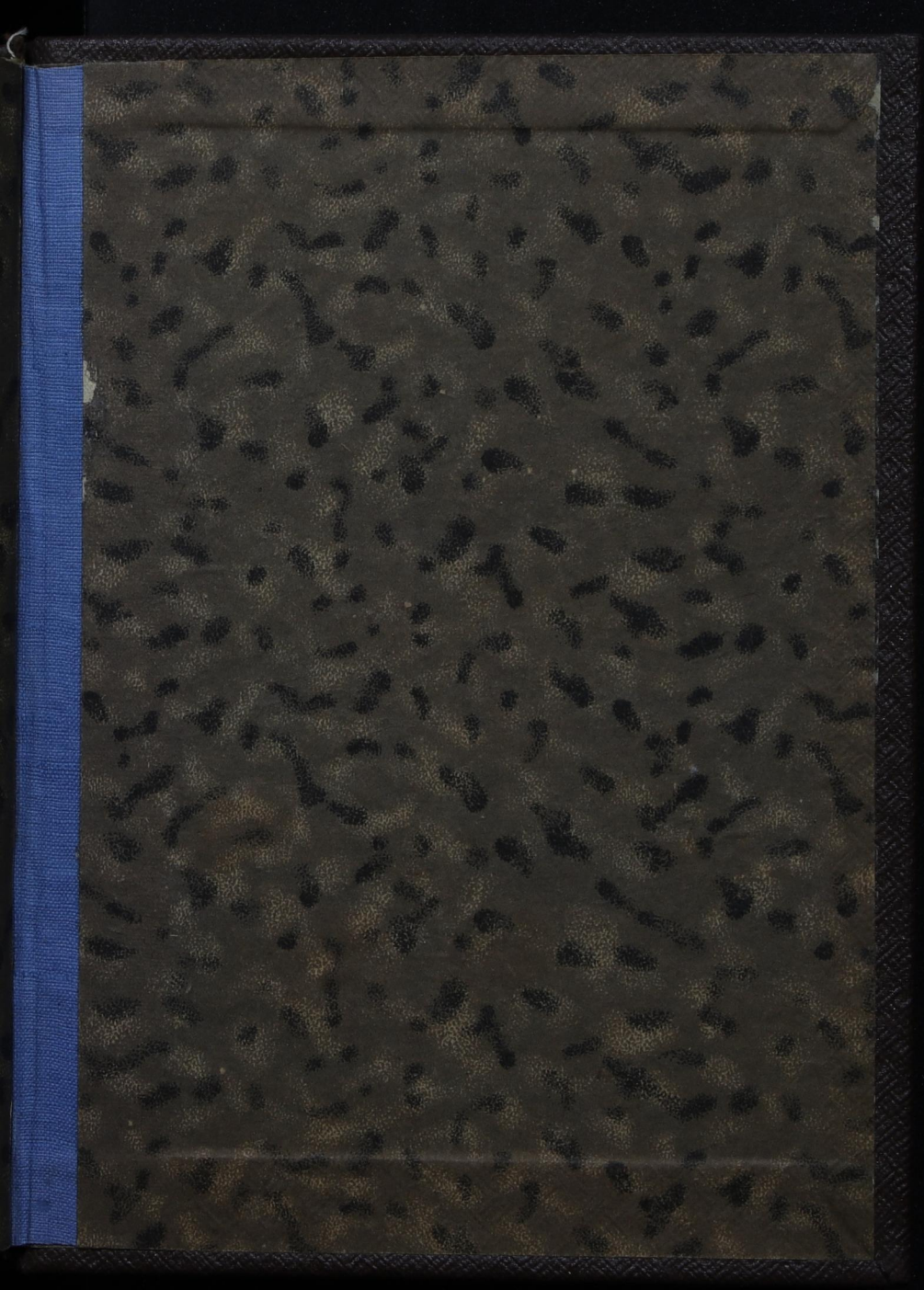
- 1) Москва, Ильинка, Биржевая пл., уг. Богоявлен. пер., № 4.
- 2) Петербург, Проспект 25 Октября, № 28. Тел. 549-32.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

В магазинах Госиздата и в др. книжных магазинах.







ГД
ГД